



Уильям САРОЯН
САРОЯНОВЫ ПРИТЧИ
СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ



SAROYAN'S FABLES
CHANCE MEETINGS
William SAROYAN

МОСКВА
ЦЕНТР КНИГИ РУДОМИНО
2012

УДК 821.111(73)-93

ББК 84(7)-44

С 20

Издание осуществлено при поддержке

Министерства культуры Армении

Издано при финансовой поддержке

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

в рамках Федеральной целевой программы

«Культура России»

Печатается с любезного разрешения попечителей университета

имени Леланда Стэнфорда младшего.

Ответственный редактор – А.Г. Николаевская

Иллюстрации – А.В. Карпенко

Дизайн – Т.Н. Костерина

Сароян Уильям = Saroyan William

C20 Сарояновы притчи. Случайные встречи = Saroyan's Fables.Chance

Meetings / Уильям Сароян = William Saroyan ; [предисл. Левона

Мкртчяна, послесл. Арама Оганяна,

перевод Арама Оганяна и Аллы Николаевской] –

М.: Центр книги Рудомино, 2012 – 432 с.: илл.

ISBN 978-5-905626-21-0

В 1934 году журнал «Тайм» написал: «На прошлой неделе

на американском горизонте появился новый писатель.

На первый взгляд, размером не больше ладони,

это любопытное явление обещает... циклон». Так приняла критика

замечательного писателя Уильяма Сарояна, творчество которого

вскоре стало достоянием мировой литературы. В предлагаемую

книгу вошли его притчи и рассказы «Случайные встречи».

УДК 821.111(73)-93

ББК 84(7)-44

Запрещается полное или частичное использование

и воспроизведение текста и иллюстраций в любых формах

без письменного разрешения праволадельца.

ISBN 978-5-905626-21-0

© Reproduced by permission of Pollinger Limited and Mimi Calter

© Левон Мкртчян (наследники), предисловие, 2012

© Арам Оганян, перевод, послесловие, 2012

© Алла Николаевская, перевод, 2012

© ООО «Центр книги Рудомино», издание на русском

и английском языках, оформление, 2012

© ООО «Инфинитив», 2012

Самый лучший день нашей жизни

В жизнь каждого из нас по-своему приходит тот или иной писатель. В середине 50-х годов в статье Ильи Эренбурга «Путь века» среди других имен был назван Уильям Сароян. Это запомнилось. Были найдены и прочитаны новеллы и книги Сарояна «Меня зовут Арам», «Человеческая комедия», «Приключения Весли Джексона», были прочитаны и увидены на сцене пьесы и в их числе самая, может быть, знаменитая из пьес «В горах мое сердце».

Позже были прочитаны и многие другие книги — «Мама, я тебя люблю», «Папа, ты сошел с ума»... А в октябре 1976 года, когда Сароян прилетел из Хельсинки в Ленинград, мы познакомились.

В Хельсинки Сароян хотел увидеть дом, в котором жил великий финский композитор Ян Сибелиус.

— Сибелиус из воды, из травы, из дерева делал музыку, — сказал Сароян.

Он и сам из того же «материала» делал прозу. Он стал знаменит в Америке уже в середине 30-х годов, после первой своей книги «Отважный молодой человек на летящей трапеции». А затем пришла и мировая известность.

Сароян был писателем великого жизнелюбия. Он проповедовал любовь к человеку и прежде всего к «маленькому человеку».

Во всем, что написал Сароян, жизнь буквально трепещет, осязаемое, щемящее чувство жизни взывает в его книгах к жизни другой — более справедливой, более к людям благорасположенной, что ли.

И не только к людям. «Лошадь, — скажет Сароян, — понятно, не человеческое существо, но она до такой степени часть людей, что отчасти и она — люди».

И вся вселенная — люди. Всё — люди.

И Сароян любил людей и умел сказать об этом.

Проза у него солнечная, способная согреть, помочь и поддержать. Но Сароян любил не всех людей. Любил страдающих и достойнейших. «Иных из прототипов моих героев, — пишет он в «Случайных встречах», — я ненавидел и готов был убить, в точности как Святой Георгий убил дракона».

Доброта Сарояна никогда не заслоняла от него всей боли и всех противоречий жизни. Его гуманизм социально окрашен и социально активен. Писать, чтобы убить «дракона»! Это было знакомо Сарояну.

Один из его героев, бедный молодой человек, пробует стать писателем, но над ним измываются: «Кому это нужно — “Луна утонула в море”? Кому нужна такая чушь? Тут Америка. Тут Калифорния. Тут Фресно. Тут настоящий мир, без луны и без моря». Сароян и его герои слишком хорошо знали этот «настоящий мир». И доброта Сарояна — от глубочайшего сочувствия к тем, кто страдает в «настоящем мире». Это активная доброта.

— Если писатель одарил людей радостью, — говорил Сароян на встрече со студентами Ереванского университета, — значит, он выполнил свой долг, значит, он изменил мир, потому что радостный человек — это изменившийся мир.

Убить «дракона» — это далеко еще не все. Надо, чтобы люди жили светло и радостно, чтобы дети (герои многих книг Сарояна — дети) были счастливы, чтобы всякий божий день не был им в тягость.

Многое в этом мире Сароян не принимал, но он всегда ставил перед собой задачи позитивные, искал и находил в жизни и в людях доброе, человеческое.

Сароян всегда был писателем современным. И современность всегда сочеталась в нем с изначальной, древнейшей человеческой способностью удивляться

миру. «Есть ли у дождя отец или кто рождает капли росы?» — это занимало Сарояна, и он об этом писал. Обычный, даже обыденный мир становился вдруг под пером Сарояна необычным, по-настоящему удивительным, как, например, в «Случайных встречах».

«Случайные встречи», составившие наряду с его придчами эту книгу, — вещь в определенном смысле философская, хотя Сароян никогда не обременял свои произведения философией как таковой. Но в своей излюбленной манере письма, непринужденной, не претендующей, казалось бы, на глубину, он всегда был по-настоящему глубок и философичен.

В «Случайных встречах» Сароян задался целью написать о «капризах» человеческой памяти. Почему человек запоминает часто случайное, незначительное, этого человека, это событие? Память запечатлевает жизнь человека вне какой-либо системы или определенного сюжета. Сароян взялся написать о своей жизни так, как она запечатлелась в его памяти. «Память человеческая, — размышляет он, — идет своим путем и останавливается на чем-то произвольно, независимо от того, где была предыдущая остановка и где будет следующая».

Сароян во всем следует памяти. Все, что сохранила память, все значительно и все интересно. Он пишет жизнь так, как ее помнит, и он верит, что в причудливой, необъяснимой и подчас алогичной памяти есть свой смысл, своя философия.

Сюжеты, подсказанные жизнью, Сароян, как правило, не менял, не придавал им литературной стройности и завершенности. С годами он все больше тяготел к письму раскованному, почти бессюжетному. Демократизм Сарояна — человека и писателя, конечно же, сказался и в его слоге, в его письме. Сароян как-то заметил, что важно «научиться писать так, как идет этот снег».

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Есть у Сарояна рассказы, герои которых — бежавшие из турецкой Армении от резни и погромов армяне. Сароян и сам был сыном армян-эмигрантов, обосновавшихся в Америке.

Американский писатель, Сароян неоднократно подчеркивал, что он армянин. «Я писал по-английски языком тружеников армян. Выходило скверно, но я был упрямый, и в конце концов издатели, отчаявшись, сдались и потихоньку стали печатать мою писанину».

Сароян не представлял себе жизни без Армении. Он приезжал в Армению. Были у него здесь друзья. Он знал Егише Чаренца, Ваана Тотовенца, Гургена Маари... Он дружил и переписывался со многими современными армянскими писателями.

«Я хочу приехать к вам еще раз, — писал Сароян в июне 1978 года. — Хочу всех вас видеть. Жажду снова увидеть холмы и скалы возле дома Гурзадяна, окруженного садом с дивными розами...»

В октябре 1978 года Сароян приезжал в Армению на торжества по случаю 150-летия присоединения Армении к России. Из Москвы он летел в одном самолете с киргизской делегацией.

— Другие народы приезжают к вам разделить вашу радость. Это хорошо! — восхищался Сароян. — А армяне, значит, летают к ним на праздники. Это хорошо...

Еще в 1976 году в Ленинграде, когда мы поехали на Пискаревское мемориальное кладбище, Сароян сказал:

— Я люблю русских за их литературу и за то, что это здоровые люди. И они хотят быть здоровыми.

«...Никто не забыт, и ничто не забыто» — эти слова, выбитые на гранитной стеле, Сароян перевел на английский. Важные для себя слова он всегда переводил, чтобы лучше их запомнить, лучше понять.

Фотографировались на Исаакиевской площади. Фотограф — инвалид войны. Пальцы рук обожженные, скрюченные, он с трудом нажимает на затвор фотоаппарата.

— У него, — говорит Сароян, — большая жизнь в прошлом. Я люблю таких людей. Надо, чтобы он рассказал нам о себе.

Октябрь в Ленинграде ясный, солнечный. И все-таки Сароян одет легко — на нем тоненький белый плащ.

— Может быть, купить вам пальто?

— Что вы, зачем мне пальто? По этим улицам ходил в старой шинели Акакий Акакиевич Башмачкин. Я хочу понять его. У меня мерзнет спина, и я чувствую Акакия Акакиевича.

Когда мы вышли на Невский проспект, Сароян сказал:

— Это — великая улица. По ней ходили герои Гоголя. Ходил сам Гоголь. Ходил Пушкин...

О Гоголе Сароян говорил постоянно:

— Гоголь раньше Чаплина поведал миру историю «маленького человека». «Маленького человека» принижают, это бедный человек. Но если написать историю этого бедного человека, то он уже перестанет быть «маленьким». Гоголь написал его историю. Он возвеличил его.

В Ленинграде, а затем в Москве и в Ереване было много хороших, памятных дней. Сароян счастливо улыбался и то и дело говорил:

— Может оказаться, что сегодняшний день был лучшим днем нашей жизни.

Когда в 1978 году мы снова встретились и вместе с друзьями провели у подножия Арарата веселый солнечный день, Сароян произнес знакомую фразу:

— Может оказаться, что сегодняшний день был лучшим днем нашей жизни.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

И таких лучших дней было много.
Стоило Сарояну один из своих дней назвать лучшим,
как через день-другой ему казалось, что вот этот,
сегодняшний день, был бесподобным, самым,
самым лучшим.

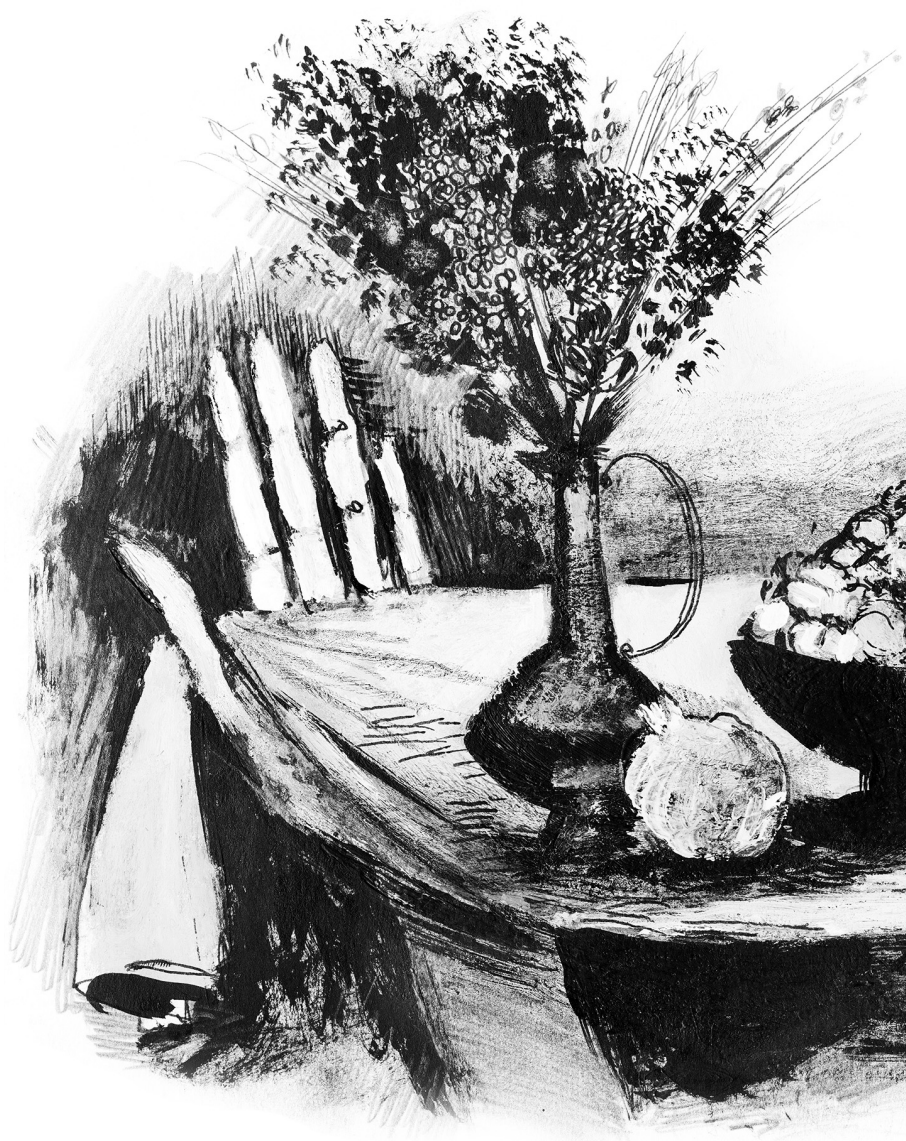
И так всегда, учил Сароян, каждый новый день,
дарованный нам судьбой, тем и хорош, что может
оказаться не последним, а лучшим днем нашей жизни.

Вот и сейчас, сегодня, читая и перечитывая Сарояна,
очень может быть, что мы прожили один из лучших
дней нашей жизни.

Один из многих, многих лучших дней...

Левон Мкртчян

САРОЯНОВЫ
ПРИТЧИ

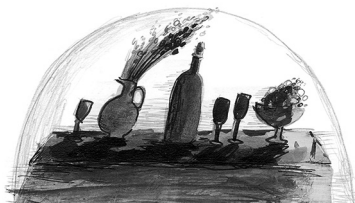




МОЕМУ ДЯДЮШКЕ
АРАМУ САРОЯНУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
СИЕ СКРОМНОЕ СОБРАНИЕ
СТАРИННЫХ АРМЯНСКИХ ПОБАСЕНОК,
ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПО ПАМЯТИ
ДЯДИНЫМИ РОДСТВЕННИКАМИ
СО СТАРОЙ РОДИНЫ,
ИЗЛОЖЕННЫХ ПО-АНГЛИЙСКИ
ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЯЗЫКОМ,
А ТАКЖЕ НЕСКОЛЬКО ПОВЕСТВОВАНИЙ
О МОЛОДЫХ И ПОЖИЛЫХ АРМЯНАХ –
УРОЖЕНЦАХ ЕГО РОДНОГО ГОРОДА ФРЕСНО,
ШТАТ КАЛИФОРНИЯ,
ВПЕРВЫЕ НАПЕЧАТАННЫХ НА БУМАГЕ
НА КАКОМ БЫ ТО НИ БЫЛО
ЯЗЫКЕ.

I

*О том, что вера в Бога — благо,
спасшее жизнь по меньшей мере одному
доброму человеку*



Когда бабушка Люси хочет наглядно показать, что упование на Бога — великое благо, а отчаяние — бедствие, она рассказывает о том, как сотни лет тому назад жил да был плотник, который однажды вечером по дороге домой повстречал друга.

— Братец, ты что пригорюнился? — спросил его друг.

— И тебе было бы не до смеху, — вздохнул плотник, — окажись ты на моем месте.

— А что же с тобой стряслось? — поинтересовался друг.

— К завтрашнему утру, — ответил плотник, — царь велел мне заготовить одиннадцать тысяч одиннадцать сотен одиннадцать фунтов мелких опилок, а не то голову с плеч долой.

Товарищу улыбнулся и обнял плотника.

— Дружище, — сказал он, — не принимай все так близко к сердцу. Пошли пировать и давай забудем

о завтрашнем дне. Всемогущий Господь не оставит нас, пока мы молимся.

И они направились в дом плотника, где раздавался плач его жены и детей, после чего начались возлияния, песни-пляски, разговоры, упование на Бога и Его милосердие. В разгар веселья жена плотника разрыдалась:

— Муж мой, утром тебе отрубят голову, а мы тут веселимся и наслаждаемся жизнью.

— Помни о Боге, — сказал плотник и продолжал молиться.

Всю ночь не смолкало застолье. Когда первый луч света пронзил тьму и настало утро, все умолкли, подавленные ужасом и горем. Пришли царские гонцы и тихонько постучались в дверь. Плотник сказал:

— Вот и пришел мой смертный час, — и отворил запоры.

— Плотник, — сказали они, — царь умер — сколоти для него гроб.

II

*Что сказал смысленый молодой человек
про юного царя с куриными мозгами,
который забавлялся тем, что придумывал
для своих подданных эксцентричные,
но невыполнимые задания*



Мой дядя Арам, чтобы привести наглядный пример чего-либо экстравагантного, рассказывает историю о том, как жили-были царь и некий человек. У царя были нелепые причуды, а у того человека — одного из царских советников — было больше здравого смысла, смекалки и мужества, чем у царя и всех царских предков вместе взятых.

Однажды вечером царь говорит:

— Желая, чтобы к утру мне доложили, сколько в этом городе слепых.

— Ладно, — ответил советник, — будет исполнено.

И удалился, чтобы обдумать, как исполнить это нелепое приказание. Он разыскал опытного счетовода, посадил на изящного коня, вручил ему гроссбух с пером и велел проехаться по всему городу и переписать всех слепых, какие только ему

повстречаются. А к седлу своего коня он прочной веревкой привязал большую ветку сирени и потащил за собой по улицам.

Тотчас же один прохожий, взглянув на него, воскликнул:

— Махмед, что ты делаешь?

Советник повернулся к счетоводу и сказал:

— Счетовод, этот человек слепой. Открывай свой счет.

На соседней улице женщина высунулась из окна красивого дома и поинтересовалась:

— Молодой человек, что ты делаешь?

И советник велел счетоводу продолжать учет.

К утру в реестре слепых оказался весь город, и советник со счетоводом вернулись верхом во дворцовые сады, по-прежнему волоча за собой ветку сирени.

Царь собственной персоной вышел на балкон и увидел советника.

— Эй, Махмед, — крикнул он, — что это ты делаешь?

Советник быстро обернулся к счетоводу и сказал:

— Счетовод, теперь список полный. Этот сукин сын тоже слепой.

III

*О том, как медведь пожалел глупого охотника,
который продал медвежью шкуру,
не успев убить медведя*



А еще, чтобы высмеять скудоумие тех, чьи амбиции и мечтания опережают ход событий, мой дядя рассказывает о том, как жили-были два араба, один рассудительный, другой безрассудный, и отправились они как-то в горы поохотиться на медведей.

— Я уже продал шкуру своего медведя, — похвастался глупый охотник. — А ты?

— Нет, — ответил проникательный охотник. — Я подумаю об этом, когда убью медведя. Откуда у тебя такая уверенность?

— Ну, — сказал тот, — просто я искусный стрелок, знаток медвежьих повадок и к тому же предприимчивый делец.

Они поднялись высоко в горы, и там их пути разошлись. Из-за огромного валуна возник громадный медведь. Легкомысленный охотник выронил ружье, бросился наземь и притворился

мертвым. Медведь приблизился к нему, обнюхал и помочился ему на лицо, а затем неспешно удалился. Когда медведь был уже далеко, незадачливый араб встал и утер лицо. Тут подоспел к нему другой араб и спросил:

— Что сказал тебе медведь?

Неразумный охотник, который теперь немного образумился, ответил:

— Медведь сказал: «В следующий раз сперва сдери с меня шкуру, а потом продавай».

IV

Бестолковое, но прекрасное в своем праведном гневном восклицании о лицемерии, адресованное медведем своему другу



В упрек двуличным людям, которые расхваливают человека в его присутствии, а за спиной у него говорят гадости, дядя Арам также рассказывает историю про Медведя и Человека, которые дружили и вышли однажды прогуляться зимним днем. Человек остановился подуть себе на руки. Медведь спросил:

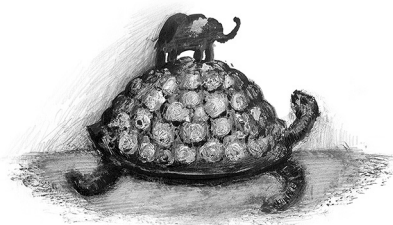
- Дружище, зачем ты дуешь на руки?
- Чтобы согреть их, – ответил Человек.

После прогулки они зашли поужинать в дом Человека, и когда на стол подали суп, человек принялся на него дуть. Медведь полюбопытствовал:

- Дружище, зачем ты дуешь на суп?
- Чтобы его остудить, – сказал Человек.
- Будь проклято дыхание, которое заразит и греет, и охлаждает! – взревел Медведь, совсем как мужчина с таким же буйным темпераментом, как у моего дяди.

V

*О том, как высокопарные слова черепахи
омрачили последние минуты жизни льва,
смертельно раненного охотником,
но тем не менее горделивого и одинокого.
И о том, как блоха в слоновьем ухе вообразила,
будто весит вдвое больше самого слона*



Для того, чтобы поставить на место мелких людишек с претензиями на собственное величие, дядя Арам рассказывает о льве, раненном пулей охотника и ревущем от боли, находясь на грани жизни и смерти. И тут к нему подползает маленькая неповоротливая черепаха и спрашивает:

— Что за беда с тобой приключилась?

— Меня подстрелил охотник, — ответил лев.

Черепаха возмутилась:

— Руки надо обломать этим людям, причиняющим боль столь величественным созданиям, как мы с тобой!

— Сестрица черепаха, должен признаться, рана, нанесенная мне охотником, не так мучительна, как твои словеса, — сказал лев и умер.

На эту же тему дядя также рассказывает еще о блохе в ухе слона, вышагивающего по мосту.

— Друг мой, — говорит ему блоха, — когда такие гиганты, как мы с тобой идем по мостам, они сотрясаются от нашего могущества.

VI

*О том, как в меру сердобольный муж чуть
не лишился жены и осла, и скорее всего в самом
деле лишился бы, если бы не милосердие Бога,
действовавшего в обличье безымянного судьи.
Да вселится Его мудрость в ныне живущих,
дабы спасать и защищать всех несчастных
с благими намерениями*



Некие муж и жена ехали в Битлис на осле по горной дороге, как вдруг перед ними возник бредущий на ощупь слепой.

Муж сказал жене:

— Бог дал тебе два глаза, слезай, иди пешком, уступи свое место слепому.

Жена возразила:

— Слепые коварны, давай лучше проедем мимо.

Но муж пожалел слепого и пожелал посадить его на осла:

— Смотри, как у него изранены ноги, слезай, жена, пусть он сядет.

И вот жена слезла с осла, а слепой сел рядом с её мужем. Жена шла пешком, а мужчины ехали

верхом на осле, пока они не прибыли, наконец, в Битлис.

Муж сказал слепому:

– Это Битлис; здесь мы расстанемся с тобой, слезай.

– Что значит слезай? – сказал слепой. – Только потому, что вы провели моего осла через горы, вы хотите украсть мою скотину?

Жена, почуяв неладное, простонала:

– О, мой неразумный муж! – сказала она.

– Будь так добр, слезай, – повторил муж. – Я пожалел тебя и привез верхом на осле в город, а теперь иди своей дорогой.

Тут слепой завопил. Собралась толпа, и слепой обратился к народу. Муж увидел, что люди скорее склонны сочувствовать слепому, чем ему, и сказал жене:

– Ты оказалась права, я допустил промах. Давай оставим ему осла и уйдем.

– Да, – сказала жена, – уйдем.

Слепой подал ему вслед голос:

– Сначала ты хотел похитить моего осла, а теперь вот хочешь увести мою жену, а моя жена, увидев здорового мужчину, не хочет больше жить со слепым.

Жена заскрежетала зубами. Муж лишился дара речи.

Толпа опять поверила слепому. Он же слепой. Они пожалели его, потому что он незрячий.

Жена зарыдала. Муж отказывался уходить без жены.

Они отправились в суд, и там слепой объяснил, что он и его жена ехали на осле в Битлис, и вдруг осел заупрямился и не захотел идти дальше. Появился мужчина и заставил осла идти и прибыл с ними в город, где сперва попытался увести осла, а потом и его жену.

Затем с горечью в голосе муж рассказал всю правду, проклиная себя за добросердечие.

Потом и жена рассказала все, как было.

Судья понял, что один из троих, но неизвестно кто, лжет, а посему он повелел:

— Пусть каждого из них поместят в отдельную комнату и следят, а утром доложат мне об увиденном.

Так с ними и поступили.

Когда слепой решил, что остался один, то заулыбался. Потом зевнул, потянулся и начал плясать. Он сказал себе:

— Я получил осла, вот бы еще заполучить жену, тогда мне сам черт не брат.

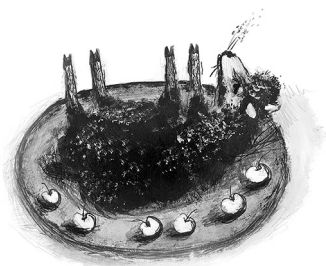
А муж непрерывно ругал себя за свое дурацкое упрямство, с которым он порывался помочь слепому.

Жена плакала.

Наутро обо всем доложили судье. Он заключил слепого в тюрьму. А муж и жена отправились на своем осле восвояси.

VII

*Что бывает, когда пытаешься
кое-кому угодить*



В одной семье жил слепой, которому домочадцы отдавали все самое лучшее: еду, одежду, постель, одеяла и так далее, но тот, тая обиду, все равно жаловался денно и ношно на плохое обращение. Все пили воду, а слепой — молоко, все обходились одной пиалой риса, а слепому давали три, все съедали полковриги хлеба, а слепой получал целых три, но все равно был недоволен. В гневе и отчаянии они зарезали барашка, зажарили, положили на блюдо и поставили перед слепым. Тот обнюхал угощение и принялся ощупывать, чтобы определить его величину, потом принялся было за еду, но прежде чем проглотить первый кусочек, заявил:

— Если уж мне досталось так много, сколько же вы взяли себе?!

VIII

О том,
как некий Проходимец из Одессы
попал впросак при попытке
обмануть смывилого
Мальчика из Битлиса



Как-то один Проходимец пришел в Битлис из Одессы, где его уже слишком хорошо знали. Там он увидел восьмилетнего мальчишку, у которого на руке красовался перстень с бесценным камнем.

— Дитя мое, — сказал он, — если ты отдашь мне безделушку, что у тебя на пальце, то взамен получишь три золотых и сможешь купить себе хоть сотню таких финтифлюшек.

— Так и быть, только сначала ты закричишь по-ослиному и пройдешься на четвереньках по всей улице, — ответил мальчик.

Так как Проходимца в Битлисе никто не знал, он стал на четвереньки и прошелся таким образом вверх по улице, издавая ослиные крики. В конце улицы он поднялся на ноги и сказал:

— А теперь, мой мальчик, давай сюда колечко.

— Катись туда, откуда пришел, — сказал мальчик. — Что же по-твоему, ты своим ослиным умом можешь оценить драгоценность этого кольца, а я своим человеческим — не могу?

IX

*О злключениях Наивного Мужа, который горел
лишь одним желанием — отведать гуся, однако был
лишен этого удовольствия своей Неверной Женой
и ее Высокомерным, но не исключено,
что симпатичным Любовником*



В одно прекрасное утро приносит наивный муж гуся и говорит своей жене:

— Зажарь мне эту птицу. Я отужинаю ею сегодня вечером, как приду домой.

Жена ошипала гуся, выпотрошила и зажарила. Днем к ней наведалься любовник. Перед уходом он поинтересовался, что бы ему захватить с собой из съестного для дружков, заглянул в духовку и увидел там жареного гуся.

— Это для мужа, — сказала жена.

— Хочу гуся, — потребовал любовник. — Не отдашь, считай, я тебя разлюбил.

И унес гуся.

Вечером муж уселся за стол и сказал:

— Подавай гуся.

— Какого еще гуся? — спросила жена.

— Того самого, что я принес тебе сегодня утром, — ответил муж, — неси его.

— Ты это серьезно? — сказала жена. — Не давал ты мне никакого гуся. Тебе, наверное, во сне приснилось.

— Давай сюда гуся, тебе говорят! — гаркнул муж.

Жена заголосила, причитая:

— О, мой бедный муж! Совсем спятил! Грезит наяву!

Сбежались соседи и поверили жене, так что мужу пришлось помалкивать, и он остался ни с чем, если не считать хлеб-сыр да воду.

На следующее утро муж принес жене нового гуся и говорит:

— Это гусь?

— Ну, гусь, — отвечает жена.

— Я не грежу?

— Нет.

— Это гусиная голова?

— Да.

— А это крылья?

— Крылья.

— Это перья?

— Да.

— Вот и прекрасно, — сказал муж, — жарь-ка мне этого гуся к сегодняшнему вечеру на ужин.

Только Жена приготовила гуся, как заявляется любовник.

— По запаху чую, сегодня опять гусь, — говорит он.

— Я не могу тебе его отдать, — сказала жена. — Вчера вечером муж закатил мне жуткую сцену, и еще одну сегодня утром в придачу. Я люблю тебя, но гуся не отдам.

— Или ты меня любишь, или — нет, — сказал любовник. — Или гусь мой, или — нет.

И унес гуся.

— Подавай гуся, — велел муж.

— Мой бедный муж совсем рехнулся! — завопила жена. — Гусь, гусь, гусь! Все подавай ему какого-то гуся! Какой еще гусь! Ах, мой бедный-несчастный муж!

Сбежались соседи и снова поверили жене.

Муж остался голодным.

На следующее утро он купил в городе еще одного гуся. Нанял высоченного человека, чтобы тот нес гуся над головой на подносе. Нанял оркестр из шести музыкантов, которые окружали носильщика, и прошествовал с ними по всему городу до своего дома, взывая к соседям.

Пока он шел, за ним вытянулась целая процессия.

Он обернулся к людям и сказал:

— Магометане, соседи и весь мир! Небеса, рыба в море, воины и все, все, все, смотрите — гусь!

И с этими словами он снял птицу с подноса.

— Гусь! — возопил он.

И передал птицу жене.

— А теперь зажарь эту несчастную тварь, — сказал он, — и вечером, как приду, я ее съем.

Жена гуся выпотрошила и приготовила жаркое. Опять заявляется любовник. Последовала полная нежностей сцена: всхлипы, лобзания, возня, борьба, опять всхлипы и опять лобзания. И вот любовник уходит с гусем под мышкой.

В городе муж встречает своего друга и говорит:

— Приходи ко мне сегодня вечером, жена приготовила гуся, возьмем пару бутылок ракии и весело проведем время.

Заходят они домой, и муж спрашивает:

— Зажарила гуся?

— Да, — отвечает жена. — он в духовке.

— Добро, — говорит муж. — Не такая уж ты плохая жена на самом деле. Сначала мы немного выпьем, дружище, а потом возьмемся за гуся.

Они выпили не то четыре, не то пять рюмок, и муж говорит:

— Ну что ж, подавай гуся.

А жена отвечает:

— В доме нет хлеба, сходил бы ты к своему двоюродному брату за хлебом, а то что за гусь без хлеба.

— Хорошо, — говорит муж.

И вышел из дому.

Тут жена говорит другу своего мужа:

— Мой муж сумасшедший. Никакого гуся и в помине нет. Он заманил тебя сюда, чтобы зарезать большущим кухонным ножом и вот этой вилкой. Уносил бы ты лучше отсюда ноги.

И тот ушел. Вернулся муж и спросил, куда подевались его друг с гусем.

— Твой «друг» сбежал и прихватил с собой гуся, — сказала жена. — Хорош друг, нечего сказать! А я-то корпела над ним целый день, чтобы приготовить достойный ужин!

Муж схватил со стола кухонный нож с вилкой и вылетел на улицу. Вдалеке виднелся улепетывающий друг. И муж закричал:

— Ну хотя бы ножку, дружочек, я большего не прошу!

— О, Боже! — пробормотал тот. — Да он и впрямь спятил.

И припустился бежать еще быстрее. Муж вскоре совсем выдохся и усталый припелся домой к жене. И опять поужинал одним хлебом с сыром. После этой скромной трапезы он снова принялся за ракию.

И чем больше он пил, тем больше ему открывалась истина, как это и бывает в таких случаях.

Когда он был уже совсем пьян, ему стало ведомо всё обо всем. Он поднялся и без лишнего шума поколотил жену.

— Если твоему любовнику обязательно надо каждый день обжираться гусем, так бы и сказала, — посоветовал он. — Завтра я принесу *двух* гусей. Я ведь тоже, в конце концов, могу проголодаться.

Х

*Про то, как мошенник, обжуливший весь город,
обвел вокруг пальца самонадеянного Царя,
воображавшего, будто никто не способен
одурачить его, такого мудрого,
не говоря уж о каком-то дешевом аферисте*



Как-то раз является к Царю его советник и говорит:

— У нас в городе завелся один говорун, который заставляет честных людей выкладывать ему деньги за просто так.

— Каким же образом? — удивился Царь.

— Он делает это так, — начал советник, — сначала он ловит твой взгляд, скороговоркой заговаривает зубы, и не успеешь опомниться, как отдаешь ему свои деньги, а его и след простыл. Он выуживает деньги только у самых проницательных.

— Я тебе не верю! — воскликнул Царь.

— Но это чистая правда, — ответил советник.

— Веди его сюда, — приказал Царь. — Посмотрим, как он меня обставит. Если ему это не удастся, тебе отрубят голову.

Советник идет к мошеннику и говорит:

– Царь желает, чтобы ты одурачил его, и ты должен приложить к этому все усилия.

– Чтобы я? Одурачил Царя? – изумился мошенник. – Боже упаси.

– Если тебе это не удастся, то не сносить мне головы, а заодно и тебе. Пойдем со мной, и ты уж постарайся не ударить в грязь лицом.

– Как скажешь, – сказал мошенник.

Советник привел мошенника к Царю.

– Мне сказали, что ты дурачишь мудрых людей, выманивая у них деньги, – промолвил Царь. – Я горжусь своей мудростью, так одурачь же меня.

– Да продлятся дни твои, о Царь, мне очень жаль, но это невозможно, – ответил мошенник. – Я заложил свой инструмент, без которого я никого не могу одурачить, даже самого доверчивого деревенского простофилю. Я весь в твоей власти.

– Так выкупи его, – сказал Царь.

– У меня нет денег, – ответил мошенник.

– Сколько тебе дали под залог твоего инструмента? – спросил Царь.

– Двести золотых, – ответил мошенник.

– Советник, – обратился Царь, – выдай молодому человеку двести золотых, и пусть он выкупит свои инструменты. Посмотрим, как он меня одурачит.

Советник дал мошеннику двести золотых. Перед тем, как удалиться, мошенник отвесил скромный

поклон, пообещав вернуться через два часа. Царь уселся и стал ждать.

Советник еле заметно улыбался.

— Чему ты улыбаешься? — спросил Царь.

— Если ты ждешь его возвращения, — сказал советник, — знай, ни дети твои, ни внуки не дождутся его. Да продлятся твои дни, о мудрейший Царь. Он перехитрил тебя, ибо инструментом ему служит язык.

ХІ

*Что сказал армянин-цирюльник
армянину-мяснику, не говоря ни слова,
в присутствии впечатлительного Царя
и не столь впечатлительного,
но весьма подозрительного Шпиона*



Как-то раз приходит к Царю шпион и докладывает:

— Нам ничего не удастся разузнать про армян, так как они умеют говорить между собой молча.

— Что ты такое говоришь? — не понял Царь.

— Когда они говорят вслух, мы еще можем узнать о них некоторые простые и немудреные вещи, — ответил шпион, — но если они говорят между собой, не проронив ни слова, то мы ничего не можем о них разведать. Они же понимают друг друга с одного взгляда. И тут мы бессильны. Даже если они высказываются вслух, то и тогда мы оказываемся сбитыми с толку, ибо при этом они обмениваются взглядами, меняющими смысл сказанного.

— На весь народ, может, и найдется пара исключительных умов; но стоило ли меня беспокоить по таким пустякам, — ответил Царь.

— Речь идёт обо всех, — сказал шпион. — Они все как один владеют немым языком.

— Хорошо, — ответил Царь, — посмотрим. Приведи ко мне двоих самых заурядных, ну скажем, цирюльника и мясника.

Шпион пошел к цирюльнику по имени Исро, и сказал:

— Царь хочет тебя видеть.

«Зачем это я, цирюльник, понадобился Царю?» — подумал Исро, но ничего не сказал и отправился со шпионом к Царю.

Царь пристально посмотрел на цирюльника и в недоумении спросил:

— Он разговаривает?

Цирюльник молчал, и Царь стал дожидаться мясника.

Через некоторое время шпион привел мясника по имени Богос, который тоже не мог понять, зачем это Царю вздумалось видеть *его* — обыкновенного мясника. Как только мясник увидел цирюльника, так сразу смекнул, что тот тоже армянин. Направляясь к Царю, он мельком взглянул на цирюльника. И цирюльник так же мельком взглянул на мясника.

Царь промолвил:

— Что ж, пусть теперь они поговорят без слов.

— Они уже поговорили, — ответил шпион.

— И что же они сказали друг другу? — спросил Царь.

– Точно не знаю, – ответил шпион, – но наверняка одно из тысячи и одного. Судя по тому, что я заметил, мясник спросил взглядом: «Земляк, что тут такое происходит?»

А цирюльник ему глазами в ответ:

– Не знаю, но, похоже, эти олухи воображают, будто смогут нас разговорить.

XII

О том, как не очень обремененный образованием юный уроженец Битлиса трижды одурачил дьявола



Дьявол прослышал, будто уроженцы Битлиса самые сообразительные люди на земле, и решил туда отправиться и посмотреть, сможет ли он их обвести вокруг пальца. По пути в город он почувствовал страшную усталость и обрадовался, когда его нагнал молодой человек, шагавший бодрой и задорной походкой.

— Друг мой, — сказал дьявол, — куда путь держишь?

— Я иду в Битлис, — ответил юноша.

— И я иду в Битлис, — сказал дьявол. — Давай остаток пути пройдем вместе.

— С удовольствием, — сказал юноша.

— А далеко ли еще идти? — спросил дьявол.

— Десять миль, — ответил молодой человек.

— А давно ли ты в пути? — спросил дьявол.

— Ночь и два дня, — сказал молодой человек.

Дьявол был в пути всего часть дня и то уже лишился сил. Ему показалось странным, что юноша

так резв после столь долгого пути. На самом-то деле молодой человек находился в пути всего два часа.

— Ты в первый раз идешь в Битлис? — поинтересовался дьявол.

— В первый раз я попал в Битлис, когда там родился, — сказал юноша.

— Понятно, — сказал про себя дьявол, — он один из этих самых сообразительных. Вот я его и одурачу.

— Раз уж мы оба идем в одно и то же место, давай договоримся, чтобы сильно себя не утомлять. Мы оба проделали долгий путь. Ты понесешь меня на закорках, пока я переведу дух и отдохну. Потом я слезу и понесу тебя, пока ты отдышишься.

— Хорошо, — сказал уроженец Битлиса. — Как нам сделать, чтобы все было по справедливости и ни один из нас не остался в накладе?

— Нет ничего проще, — заверил его дьявол. — Сидящий на спине будет сидеть на ней пока не допоеет до конца песню.

— Справедливо, — сказал юноша. — Хочешь поехать первым?

— Благодарю, — сказал дьявол, взобрался на спину молодому человеку и запел песню «Утренний Свет», в которой тридцать восемь стихов по числу букв в армянском алфавите. Если ее исполнять, не торопясь, как пел дьявол, песня продлится полчаса или около того. Дьявол хорошо отдохнул и, вполне довольный сделкой, слез со спины битлисца, а битлисец оседлал дьявола и запел.

Он затянул армянскую церковную песню, которая может тянуться столько, сколько пожелает

исполнитель — «Даи ни, наи ни, наи ни, дон ни, нон ни, но...» И так до сколько угодно, хоть до бесконечности.

— Что это за песня у тебя такая? — спрашивает дьявол.

— Простая песня простого народа, — ответил юный битлисец.

— Сколько же в ней куплетов? — спросил дьявол.

— Миллион с хвостиком, — говорит молодой человек.

— Но ведь есть же у нее начало и конец, — недоумевает дьявол.

— Такое же начало и конец, как у вселенной или у Всемогущего Господа, — говорит юноша и распевает себе дальше: «Даи ни, наи ни, наи ни, дон ни, нон ни, но...»

Дьявол пронес на спине молодого человека через горы до самого Битлиса.

Он понял, что опозорился и решил одурачить того, кто одурачил его.

— Дружище, — спросил он, — каким ремеслом ты занимаешься?

— Возделываю землю, — сказал он.

— Так будем партнерами! — предложил дьявол.

— По рукам, — говорит юноша.

Они посадили целое поле лука, и пришло время собирать урожай.

— Что ты выбираешь, — спросил дьявол, — вершки или корешки?

— Мне подойдет либо одно, либо другое, — сказал битлисец.

– Нет уж, выбери что-нибудь одно, – возразил дьявол.

– Ладно, возьму вершки, – сказал юноша.

Один раз дьявол уже был одурачен и не собирався оказаться в дураках дважды.

– Если хочешь, я возьму вершки, а ты – корешки, – сказал он.

Дьявол срезал вершки и попытался продать. Битлисец выкопал отличный лук и весь продал.

Дьявол второй раз попал впросак. Вот уже дважды его обвели вокруг пальца, и теперь он вдвойне жаждал одурачить этого юнца.

– Давай снова будем партнерами, – предложил он.

– Хорошо, – сказал юноша.

– Что посеем на этот раз? – поинтересовался дьявол.

– Как насчет пшеницы?

Так и порешили.

В день жатвы дьявол сказал:

– Что на этот раз, вершки или корешки?

– Ну, я и на этот раз возьму корешки, – сказал молодой битлисец.

– Нет уж, – возразил дьявол, – на этот раз ты возьмешь вершки, а уж мне позволь оставить себе корешки.

И опять дьявол был посрамлен. Вечером он потихоньку убрался из Битлиса и ни разу с тех пор не возвращался, разве что инкогнито – ради того, чтобы доставить себе удовольствие и повосхищаться местными жителями.

XIII

*О том, что наговорили Кривоногому
Лысый и Сопливый во время состязания
и что он им на это ответил*



Собралась как-то эта троица: Лысый, который вечно чесал голову, Сопливый, который без конца сморкался, и Кривоногий, который всякий раз вытягивал ногу, чтобы не ныла.

Лысый предложил:

— Давайте посмотрим, кто из нас способен дольше всех не вспоминать о своих хворях?

На том и порешили.

Голову Лысого облепили мухи и принялись копать в его болячках. Зуд нарастал, и когда Лысому стало совсем невмоготу, он сказал:

— Друзья мои, когда я был мальчиком, мой отец отправился в Константинополь и привез мне феску. Она оказалась какая-то чудная. Я нахлобучивал ее на макушку — вот так, а она сваливалась. Надевал ее на левое ухо — вот так, она опять сваливалась. На правое ухо — снова валится. Надевал ее на затылок,

потом на лоб, но как бы и куда бы я ее ни надевал — она все равно сваливалась.

Рассказывая таким образом про феску, Лысый отгонял мух, почесывал голову и облегчал свои страдания.

Двое других оценили его находчивость, с которой он вышел из положения. Сопливый начал рассказывать:

— Как это ни странно, но когда я был мальчиком, мой отец тоже поехал в Константинополь. Он привез отменную немецкую винтовку и вместо мишени использовал мой нос. Одну пулю вцепил сюда, другую — туда, третью — так, четвертую — эдак, пока все патроны не расстрелял.

И таким образом сопливый вытирал себе нос.

Тем временем Кривоногий, испытывая невероятные муки, лихорадочно соображал, что бы такого мог привезти его отец из Константинополя для утоления боли. Чем больше он думал, тем очевиднее ему становилось, что ни из Константинополя, ни откуда бы то ни было, ни в мальчишеском, ни в каком другом возрасте невозможно было привезти ничего такого, что помогло бы ему сейчас поднять кривую ногу и стукнуть ею обо что-нибудь.

Он поднял свою кривую ногу и, колотя ею то тут, то там, приговаривал:

— Если сказанное вами истинная правда, то пусть моя кривая нога надает вашим папашам пинков под зад и гоняет по всему аду до скончания века — вот так, вот так и вот так!

XIV

*О том, как Царь, уверовавший в порядочность
слепых своего царства, вернул себе свой золотой
от слепого воришки с обликом праведника,
которому, впрочем, ничто человеческое
было не чуждо*



Однажды Царь проведал о том, что в его царстве живут жадные и лживые слепые.

— Возможно ли такое? — удивился царь. — Они же ничего не видят. Как же они могут лгать и жадничать?

Ему посоветовали отправиться к слепым и лично во всем убедиться.

Царь пошел туда, где собираются слепые, и встал среди них. Он заметил слепого, который производил впечатление праведника, и обратился к нему:

— На этой улице некий добрый человек подал мне золотой, — обратился Царь к слепому.

— Я ещё ни разу не дотрагивался до золота, будь так любезен, дай мне его коснуться, — попросил слепой.

— Золотой ничем не отличается от других монет, только он больше и тяжелее, — ответил Царь.

— Я никогда не держал в руках золотого, — повторил слепой, — не хотелось бы мне умереть, так и не подержав его ни разу. Дай мне его, пожалуйста, на минутку, я верну тебе.

Царь протянул ему золотой. Слепой тихонько отошел подальше и спрятался за валун.

— Друг мой, где ты? — окликнул его Царь. — Верни золотой!

Ответа не последовало.

Царь снова позвал его и опять в ответ молчание.

Царь подошел к затаившемуся слепому, поднял камень и произнес:

— Боже, да поразит этот камень голову жадному и лживому слепому, укравшему мой золотой, — и запустил им в голову слепого.

— Это случайность, — сказал про себя слепой, — мне просто не повезло.

Тут Царь подобрал другой камень и со словами:

— Боже Всемогущий! Да поразит этот камень лодыжку слепого вора, — и запустил им в лодыжку слепого.

— Странно, — подумал слепой, — почему ему так везет?

— Боже Всемогущий, да угодит этот камень слепому вору в глаз! — и Царь занес третий камень.

Тут слепой выскочил из-за валуна и как завопит:

— Нечего впутывать сюда Всемогущего Господа, на, подавись своим золотым!. Ты зрячий — это нечестно!

XV

*Ошеломительная неожиданность,
свалившаяся на Кролика,
вздумавшего подражать Львиному рыку*



Однажды днем Лев пробудился ото сна и зарычал, переполошив все спящее в округе зверье. Проснулся Кролик и увидел, что вся живность разбегается и прячется кто куда.

— С какой стати Лев должен рычать так, чтобы все улепетывали и прятались, — воскликнул Кролик. — А почему бы и мне не рыкнуть так, чтобы все пустились наутёк?

И зарычал. Во всю мочь. Но вместо рычания он издал писк, и его услышала голодная лисица. Она подкралась, стукнула кролика по голове и убила.

— Ты Кролик, а не Лев, впредь знай свое место, — сказала она.

XVI

*Притча про глухого крестьянина,
глухого пастуха, глухого судью и глухого мужа,
который рассорился с женой и ушел из дому*



Рамадан — это мусульманский пост. Он длится примерно тридцать дней до наступления Байрама, а там снова пост. Рамадан кончается тогда, когда трое правоверных взберутся на вершину горы, чтобы увидеть молодую луну, потом вернутся в город, поднимут руки и поклянутся, что видели молодую луну. Тогда палят из ружей, и наступает Байрам.

Как-то, лет семьдесят-восемьдесят тому назад, на третий день Рамадана, некий глухой крестьянин нашел двух овец на той улице, по которой полчаса назад пастух прогнал свое стадо.

— Я славлюсь своей честностью и верну пастуху его овец, — сказал крестьянин и погнал овец из деревни в горы, навстречу пастуху. Одна овца прихрамывала на переднюю правую ногу.

В это самое время глухой муж разругался со своей женой и в гневе покинул дом, крича, что

ноги его здесь не будет, пока он жив, и ушел навсегда. Пропади она пропадом со своими вечными придирками, всему же есть предел! И он направился в горы.

Крестьянин с овцами наконец догнал пастуха и сказал ему:

— Брат мой, я славлюсь своей честностью по всей земле. Меня зовут Осман. Вот твои овцы.

— О, Сын Небес! — воскликнул пастух, — возьми себе эту хромую овцу!

— Что это значит! — возмутился крестьянин, — я проявил к тебе такую доброту — вернул твоих овец, а ты упрекаешь меня в том, что я сломал ногу этой твари? Что ты за человек после этого?

— Пожалуйста, — сказал пастух, — очень благородно с твоей стороны, что ты вернул мне овец, но почему ты настаиваешь именно на здоровой овце, а не на хромой? Ведь ты зарежешь ее и съешь, что с того, что она хромает?

Тут пастух и крестьянин увидели рассерженного мужа, слонявшегося в горах, и попросили его помочь им разобраться в их деле.

— Я вижу, они знают о моей ссоре и хотят уговорить меня вернуться к жене, — сказал разгневанный муж. — Пусть не суются не в свое дело. Что бы они ни говорили, я этого не сделаю.

Он подошел к двум спорщикам.

— Меня зовут Осман, — начал крестьянин, — последние семь поколений моего рода известны своей честностью. Я нашел овец, которых потерял этот человек в деревне, и гнал их три мили. Я вернул

овец хозяину, а он говорит, что я сломал овце ногу. Я нашел ее хромой, — прокричал он с обидой в голосе.

— Пожалуйста, выслушай меня, мой друг, — обратился пастух к сердитому мужу, — я всего лишь предложил ему взять себе хромую овцу вместо здоровой. Я очень благодарен ему за доброту и за то, что он вернул моих овец. Я хочу отблагодарить его, но он требует здоровую овцу. Будь так добр, рассуди нас.

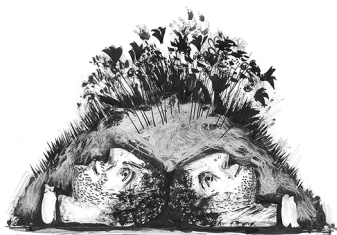
— Чтобы вы ни говорили, — сказал глухой муж, — это наша последняя ссора. Хватит с меня! Никакая сила ни на небесах, ни в аду не заставит меня вернуться в этот дом. Можете говорить хоть до окончания времен — все равно не вернусь.

Спор длился целых полчаса; каждый настаивал на своей правоте. Они спустились с горы в деревню и отправились на суд к глухому судье. Каждый по очереди — крестьянин, пастух и сердитый муж поднимали руку и рассказывали свою историю. Глухой судья выслушал их до конца и сказал:

— Трое правоверных поклялись, что видели молодую луну. Велите сельчанам стрелять из ружей. Рамадан окончен. Наступил Байрам.

XVII

*Как бесчестные торговцы перехитрили
друг друга, но в конце концов умерли
и, сами того не ожидая, предоставили детям
случай возблагодарить Бога
за ниспосланные им цветы*



Нынешнюю войну, замешанные в ней политические интриги и нравы нашего мира легко будет понять, если вспомнить сию небольшую историю со старой родины.

Двое мошенников решили заключить сделку. Порядочные люди, уже зная, чего стоит эта парочка, отказывались вступать с ними в разговоры, не говоря уже о сделках. Поэтому мошенники, как это ни странно, скорее всего, чтобы не терять форму, а вовсе не затем, чтобы надуть друг дружку, решили пойти на сделку. Предмет сделки был не столь важен, поэтому они могли позволить себе быть непринужденными.

У одного был табак, у другого лошадь. Они обменялись.

— Насчет табака, — сказал один, — признаться, он старей, подгнивший и, насколько мне известно,

им вполне можно отравиться. Если тебе так уж приспичит его курить, то не затягивайся. Его нужно все время держать на пламени.

— Хорошо, — ответил другой. — Теперь насчет лошади. Делай с ней, что хочешь, но Боже тебя упаси садиться на нее верхом. У нее зловредный нрав. К тому же, она ослепла и ничего не соображает. Если спускаешься под гору, удерживай её за хвост, чтобы она не споткнулась и не покатила вниз. Поднимаешься в гору, бери под уздцы и веди. Держи крепко, а не то она опрокинется на спину.

В их глазах сделка выглядела честной, а значит, бесполезной. Все идеально уравнивалось. Такой обмен представлялся полной нелепицей.

Тот, кому достался табак, решил, тем не менее, что все сказанное не что иное, как преувеличение, чтобы ввести его в заблуждение и дать почувствовать себя обманутым. Наконец, он скатал папироску и закурил. Табак оказался влажным, старым и подгнившим, но все же это был табак, и он сделал затяжку. В результате, в ту же ночь он чуть не отдал концы и всю неделю чувствовал себя отвратительно.

А обладатель лошади, в свою очередь, рассуждая в том же духе, вскочил в седло и очень скоро грохнулся на спину, думая, что ушибся, но на самом деле сломал спину. Ему стоило больших усилий встать и дойти до дому пешком, придерживая лошадь за хвост, когда он шагал под гору, и за уздцы, когда шел в гору. А еще он решил продать лошадь.

Сделка действительно оказалась честной. Ни тот, ни другой ничего для себя не выгадали.

Мошенники долгие недели провели в уединении и просидели в тяжких раздумьях. Наконец, они вскочили и чуть не хором воскликнули:

— Будь что будет! Я уже не молод. Чему быть, тому не миновать! Близок мой конец. Чего уж там! С сегодняшнего дня — я честный человек. И будь что будет! Моя последняя сделка не будет жульнической. Я беру смерть, а смерть забирает меня. Ни я, ни смерть ничего не получим. Я обманывал и обманывался. Ах, если бы я мог начать жизнь сызнова!

Смерть унесла обоих мошенников и глубоко зарыла их в бесплодную землю. Наступила весна, и по всей земле запламенели цветы.

— Вот ведь как бывает, — сказала Смерть, — даже бранные воровские останки стали пищей для изголодавшейся почвы и окрасили жадные до жизни цветы.

Пришли дети и нарвали цветов.

— Ура! В этом году Господь послал нам цветы! — кричали радостно дети.

Так сделка оказалась добросовестной, ведь никто никого не обманул.

XVIII

Что приключилось с умниками, которые подтрунивали над отцом семейства, чья Вера была столь сильна, что и в беде он восклицал: «Воздавайте хвалу Господу, ибо только ему ведомо, что он творит!»



Жил да был простой улыбчивый человек на белом свете, который ничем не лучше и не хуже нашего, а потому в нем случалось много несчастий, в том числе и с нашим невзрачным и смиренным знакомым. Однако никакая беда, какой бы жестокой и несправедливой она ни была, не могла сломить дух или подавить волю этого маленького человека. Прежде всего в разгар крупных или мелких невзгод, он вспоминал Бога и говорил:

— Славьте мудрость Божью. Он знает, что делает. Так он говорил, что бы ни случилось!

За это всякие недоумки считали его глупцом, но, если уж на то пошло, он был простоват, однако едва

ли глуп. А вообще-то на свой незатейливый манер он был даже весьма проникателен.

Те, кто считали его глупцом, решили однажды подвергнуть его веру суровому испытанию. Был у него ослик. После жены и девятерых детей ослик был самым ценным его достоянием. С помощью ослика он мог заработать столько, чтобы прокормить семью, утолив её голод да и свой собственный, жить в непритязательном доме и радоваться доброте Божьей.

И вот они увели ослика в горы и привязали к дереву. Простодушный человек вернулся и спросил смиренно:

— Где мой осел?

— Прискакали курды-разбойники и угнали его, — ответили ему.

Несчастный понял, что теперь вся его жизнь изменится и, наверное, всё рухнет, но он тем не менее, сказал:

— Славьте мудрость Божью. Он знает, что делает.

Все отправились верхом на ослах, а бедняга поплелся за ними пешком. Спустя час он нагнал их: они тоже остались без ослов. Одиннадцать человек, все до единого.

— Что случилось? — спросил бедняга.

Теперь только они оценили красоту его веры и во всем признались.

— Прискакали курды-разбойники и угнали наших ослов, — сказали они.

— Да, — сказали остальные, — мы должны учиться у тебя. Твой ослик в безопасности, потому

что твоя вера истинна. В насмешку над тобой мы привязали твоего ослика к дереву, а теперь воочию увидели силу твоей веры.

Бедный человек пошел в горы, нашел своего осла и всю дорогу домой славил Господа.

XIX

*Долгая доверительная молитва,
возносимая Богу каждый вечер по средам пожилым
верующим армянином из Фресно, в Первой
пресвитерианской церкви лет двадцать назад,
или о том, как стало пусто без него на свете*



В Калифорнии лет двадцать назад, каждый вечер по средам в Армянскую пресвитерианскую церковь приходил один пожилой прихожанин и молился, а все остальные внимательно к нему прислушивались. Старик молился громко и чеканно, и в голосе его звучала твердая, почти неколебимая вера в собственную близость к Богу. Создавалось впечатление, будто он приходится Богу сердечным другом, или, скажем, племянником. Это было так красиво, и как жаль, что этого старика уже нет в живых и больше никто, даже проповедники, не молятся так, как он.

— Господи, — говорил он, вставая с места, — ну вот я снова пришел в эту церквушку поведать тебе все, как есть, не вдаваясь в подробности. Со здоровьем у меня все в порядке, благодаря Тебе. Не жалуюсь.

По дороге в церковь мне в голову пришла одна мысль. Я проходил по Санта-Клара авеню, мимо лавки Момбре, где всё что можно и нельзя, засижено мухами. Так вот, не находишь ли ты, Господи, что он, человек, проживший двадцать два года в просвещенной стране, мог бы удосужиться купить мухобойку и взяться как следует за этих мух? Я подумал про себя: «Отец наш Небесный, да неужели все-все на свете, люди и скоты, созданы тобою? Даже мухи!» Если это так, а мы в этом уверены, то не кажется ли тебе, что даже самый трепетный христианин не должен заходить слишком далеко в своих рассуждениях о том, как вести себя, чтобы выглядеть достойно в глазах твоих? Он мог бы, к примеру, перебить всех этих мух и никто бы не стал особенно возражать. Это стоило бы ему небольших усилий, зато всякий смог бы войти в его лавку и купить сахару на десять центов, без боязни подвергнуться нападению тучи мух. Все мы, Господи, пропащие невежественные души, не будь твоей мудрости, мы перемерли бы все к утру, и все же — не кажется ли тебе, Господи, что цены на изюм, однако, чересчур занижены? Я вовсе не хочу сказать, что все фермеры непременно должны разбогатеть. Я только не перестаю спрашивать себя: неужели они не могут зарабатывать своим тяжким трудом столько, чтобы прокормиться, чтобы хватало на обувь для ребятишек, на щепотку табаку и прочие надобности? Ведь они трудятся в поте лица своего изо дня в день, месяц за месяцем. О, Господь Всемогущий, я знаю, на все воля твоя. Об этом я как раз говорил своему другу Горготяну сегодня днем. Он неверующий, как тебе известно, но у него

доброе сердце. Он любит музыку и щедро делится своим табаком. Его сыновья каждый месяц высылают ему денег, так что табак у него водится. А вот у меня, Господи, табак иногда кончается. Он всегда рад позвать меня в гости на поддюжины сигарет и несколько чашек кофе, после чего мы гадаем на кофейной гуще. Вот только он неверующий и уже лет пятнадцать, как не ходит в церковь, ни в пресвитерианскую, ни в какую другую. Я рассказывал ему сегодня, Господи, что на все воля Твоя, а он мне в ответ такое сказал, что я даже не знаю, стоит ли говорить Тебе. Хотя, впрочем, Ты и без того, конечно, знаешь. Он сказал: «Вот и отлично, Мано, раз на все Божья воля, помолись, пусть он пошлет нам с тобой полфунта измирского табаку. Как раз хватит на неделю». Конечно же, Отец наш Небесный, он хороший человек. Иначе я был бы оскорблен до глубины души. Едва ли во всей армянской общине найдется человек порядочней, чем он, но все же, как я уже говорил, Господи, он неверующий. Есть и другие, конечно, и Ты несомненно знаешь их всех по именам, но вряд ли они сравнятся с ним в честности. Впрочем, не за тем я пришел, чтобы рассказывать про Горготяна. Ему, как и мне, за семьдесят. Лет через двадцать-тридцать его не станет. А вот что будет с детьми, которые подрастают у нас на глазах? Не находишь ли Ты, Господи, что их родителям следовало бы больше заботиться о них? Летом, конечно, все заняты упаковкой фруктов, но даже при этом, не кажется ли Тебе, что матерям следовало бы уделять детям хотя бы по полчаса каждый вечер, чтобы учить их армянскому. Многие не могут ответить даже на

простой вопрос, разве что по-английски, которого я не понимаю. И еще, эта война в Европе, Господи, не считаешь ли Ты, что пора уже с ней кончать? Ты не находишь, что и так уже погибло много безвинных молодых людей?

Тема войны занимает у старика еще минут сорок или час, и всё в той же доверительной манере. Эти самозабвенные моления не доставляли особого удовольствия приходскому священнику и однажды он сказал старику:

— Молиться, конечно, хорошо. Но, может, это делать в более сжатом виде?

— Это как? — искренне не понял старик.

— Н-ну, — сказал священник, — скажем, когда вы доходите до таких крупных событий, как война, то не обязательно останавливаться на ней так подробно. Не пытайтесь решать все мировые проблемы в каждой молитве.

— Нет, — возразил старик, — это невозможно. Если вы настаиваете, чтобы я вовсе не молился, тогда я не буду. Но раз уж я молюсь, тогда вы должны позволить мне молиться так, как я считаю нужным. Молитва — это океан, который становится тем шире, чем дальше в него заплываешь.

Вот так этому замечательному пожилому христианину было позволено каждую среду отправляться в плавание по этому чудесному океану, пока, через пятнадцать лет, он не умер и не достиг, наконец, того берега, где, несомненно, его с нетерпением дождался Господь, чтобы обстоятельно побеседовать с ним и обсудить всё по порядку.

XX

*Суровые, но поучительные слова,
сказанные бедняку, который воображал,
будто бедность дает ему ещё и право
быть неряшливым,
что даже пару веков назад
считалось чепухой*



У вечно небритого, сопливого человека с дурным запахом изо рта и слипшимися веками спросили, почему он такой неряха.

— Я бедняк, — ответил он.

— Ну, хорошо, — сказали ему, — оставайся бедняком, если уж на то пошло, но что тебе мешает высморкаться?

XXI

*Что сказал человек,
который временами терял рассудок,
зато неизменно оставался демократом
для молодого Царя, который иногда
изнывал от скуки, но всегда был готов
поучиться ещё чему-нибудь новому*



Жил да был безумец, на которого иногда нисходило просветление. Однажды, пребывая именно в таком состоянии, он отправился в близлежащий город, где вскоре подружился с горожанами. Одним из друзей оказался Царь собственной персоной, но переодетый нищим, дабы не тяготиться своей славой самого значительного человека в государстве.

Таким вот нищим он приблизился к человеку, находившемуся порой не в своем уме, и взмолился:

— Пожалей меня! Прояви ко мне жалость!

Безумец ответил:

— Это невозможно, ибо ты и так всю жалость присвоил. Можно пожалеть только сильного, которому невдомек, что он столь же слаб, как наислабейший.

— Если тебе ни капельки не жаль меня, так подай хотя бы денежку на пропитание, — сказал Царь.

Безумец извлек из кармана своей куртки полковриги хлеба с сыром.

— Монета сделает тебя моим должником, — сказал он. — Задолженность унизительна. Будь моим гостем. Хотя здесь и нет стола, зато день погожий.

Он протянул Царю половину ковриги. Царь немного смутился, и хотя ему обычно доводилось вкушать более изысканные яства, он попробовал хлеба с сыром в надежде, что и такая заурядная пища пойдет ему впрок. Она оказалась весьма вкусной.

— Если я твой гость, — сказал Царь, — то ты должен разделить со мной трапезу.

И хотя, как ему казалось, никогда еще еда не была ему желаннее этого ломтя хлеба с сыром, он разломил свою половину ковриги и протянул больший кусок безумцу; тот принял от него хлеб и сказал:

— Отныне ты не нищий.

— Почему? — спросил Царь.

— Потому, — ответил безумец, — что по моему разумению, все живущие на свете составляют единое целое. Ты считаешься нищим, насколько мне известно. Я же говорю тебе: ты — царь.

Молодой Царь был польщен такими речами безумца, сбросил нищенское рубище и предстал перед ним в царском обличье.

— Ты и сам не ведаешь, насколько истинны твои слова, — сказал он. — Я действительно царь.

Безумец мельком взглянул на молодого человека.
— Ты ошибаешься, — сказал он. — Ты нищий.

На Царя накатила такой прилив гнева и досады, что он на миг утратил дар речи и хотел было сурово покарать безумца, но потихоньку смысл сказанного стал доходить до него. Он снова облачился в лохмотья попрошайки и с удовольствием простого смертного принялся жевать хлеб с сыром.

— До чего хорош этот хлеб да сыр! — сказал он. — Я счастлив, что живу на свете, вдыхаю ароматы растений и утоляю жажду студеной водою. Этого мне вполне достаточно.

— Ты царь, — молвил безумец и зашагал по мостовой.

XXII

*Как трудно мужу честолюбивой жены
наслаждаться жизнью,
если та повсюду распускает чудовищные
небылицы про его ясновидческие способности,
и как сей добрый сапожник нашел выход из этого
ужасно затруднительного положения*



Честолюбивая жена простого сапожника позавидовала славе жен, мужья которых прослыли мудрецами, и принялась разглагольствовать о том, что, конечно, у кого-то, возможно, мужья и мудрые, но самым наимудрейшим и всезнающим является ее супруг Муса.

Некая женщина ей на эту хвалу молвила:

— У меня пропал браслет старинной работы, которому нет цены. Приведи ко мне своего мужа, пусть он отыщет его.

Несчастливого привели к этой богатой женщине и оставили перед ней в растерянности, волнении и замешательстве. Не зная, что сказать, он решил похвалить кисточки на ее одежде. И только богатая

женщина притронулась к этим кисточкам, как обнаружила под ними браслет.

— Он воистину мудрейший! — воскликнула она, обращаясь к его жене, и одарила сапожника большими деньгами.

Как-то в этот город приехал индийский мудрец и объявил:

— Я должен, не говоря ни слова, обратиться к мудрейшему из ваших мудрецов, а мы посмотрим, сможет ли он мне ответить.

И опять посылают за сапожником. По дороге он подобрал луковицу и спрятал под одежду.

Мудрец из Индии начертил круг мелом на доске. Непритязательный сапожник подумал: «Это арбуз» и рассек его чертой пополам, мол, «Половину тебе, половину мне».

Индийский мудрец остался доволен и весьма впечатлен.

Он достал из кармана яйцо и положил на стол.

Сапожник сказал про себя: «Так — ползавтрака, а с луковицей — полный».

И положил луковицу рядом с яйцом к великому изумлению мудреца из Индии.

Тогда мудрец утвердил рядом с сапожником свой кулак. Это было выше его сил, и в ужасе бедняга сапожник стал клясть свою жену, которую звали Роза.

— Роза! — возопил он. — Роза!

Мудрец вскочил и воскликнул:

— Истинно так! Он и впрямь — мудрейший из мудрейших. Я нарисовал мир, а он провел сквозь

него разделительную черту. Я положил на стол яйцо как символ земли, а он достал луковицу, показывая, что земля состоит из слоев. Этой зимней порой я поместил рядом с ним сжатый кулак, чтобы он сказал, что это такое, а он ответил — роза!

Тут Мудрец разжал кулак и уронил на стол розу.

Так наш незадачливый сапожник прославился своей мудростью.

Однажды у царя похитили сказочные богатства. Он призвал к себе сапожника и изрек:

— Тебе все ведомо. Ты знаешь, кто похитители. Назови мне воров, иначе я буду считать тебя одним из них. Даю тебе сорок дней, чтобы ты нашел грабителей и все украденные сокровища.

— Да будет так, — ответил сапожник и отправился домой.

Он рассказал обо всём жене.

— Поскольку жить мне осталось всего сорок дней, а я не умею считать, — добавил он, — будь так добра, положи в кувшин сорок фиников, чтобы я каждое утро съедал по одному, и когда они иссякнут, я буду знать, что мое время истекло.

Разбойники тоже прослышали о его славе мудреца, и им стало любопытно, что же он делает у себя дома. Тогда они подослали к нему человека, и тот забрался на крышу понаблюдать. Он сидел на крыше, когда сапожник достал из кувшина финик и проговорил:

— Вот и пришел *первый*.

Разбойник сказал:

— В самом деле, он знает все, — и собрался было уходить, а в это время сапожник, положив этот финик себе в рот, произносит:

— А вот он уходит.

Разбойник тотчас уверовал в мудрость сапожника. Он вернулся и всё рассказал остальным разбойникам, которых было, кстати, ровно сорок. Разумеется, они ужасно разволновались и перепугались, но решили проверить сказанное товарищем. На следующий день вместе с первым они отправили на крышу второго.

В это самое время сапожник подошел к кувшину, бросил себе на ладонь еще один финик и сказал:

— Вот их уже *двое*.

Разбойникам тут же захотелось убраться восвояси, а сапожник забросил финик себе в рот и сказал:

— *Двое* уже ушли.

Разбойники вернулись и рассказали обо всем. На следующий день отправили уже троих, и, конечно, сапожник сосчитал и третьего. Всего они послали тридцать девять человек; и когда сапожник был уже уверен, что на следующий день умрет, тут разбойники слезли с крыши и взмолились о пощаде.

— Тебе все ведомо! — сказали они ему. — Мы вернем сокровища царю и сверх того дадим ему в десять крат больше того, что награбили у других, если только ты попросишь у царя сохранить нам жизнь.

— Ладно! — сказал сапожник. — Где же спрятаны сокровища?

— Будто не знаешь, — ответили разбойники. — Зачем притворяешься? Они зарыты под третьим деревом на холме, что по дороге в Тегеран.

Сапожник отправился к царю и обо всем рассказал. Сокровища откопали, разбойников помиловали, а сапожника щедро наградили.

Он взял богатство и, бросив жену, сбежал в другой город, понимая, что в следующий раз ему уже не повезет, как прежде. Его жена вновь вышла замуж, на сей раз за счетовода с большими амбициями на общественном поприще. Сапожник не стал транжирить свои деньги на азартные игры, распутных женщин и тому подобное, а зарыл их на каком-то холме. Он открыл в далеком городе новую сапожную мастерскую, ибо умел шить и починять обувь, любил свое ремесло и ещё ему нравилось, что он может спокойно спать по ночам. Три столетия никто не находил его клада. Минули еще три столетия. За это время изменился язык этого народа. Прошло еще сто лет. Сапожника давно нет на свете, и по сей день никто не знает, где его сокровища. И по сей день они там лежат, не причиняя никому зла.

XXIII

*Что сказал священник душегубу,
преступившему общепринятые
правила*

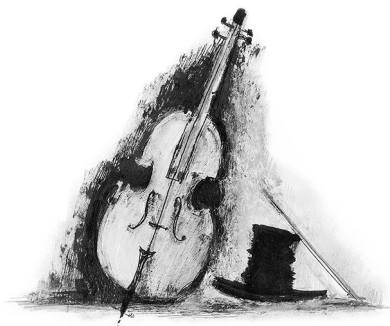


Священник обернулся к человеку, который вонзил ему в спину нож, пристально всмотрелся в его лицо и, умирая, сказал:

— За что ты убиваешь меня? Ведь я не сделал тебе ничего хорошего.

XXIV

*О том, что у женщины волос длинен,
а ум короток,
и как чудовищна ее неспособность
по достоинству оценить гения*



Некто обладал виолончелью с одной-единственной струной, по которой он водил смычком часами напролет, прижимая струну пальцем в одном и том же месте. Его жена переносила этот звук в течение семи месяцев, терпеливо дожидаясь, пока ее муж либо окочурится от скуки, либо расколошматит инструмент. Поскольку ни то, ни другое долгожданное событие так и не произошло, однажды ночью она, разумеется, тихонько сказала ему:

— Я заметила, что другие играют на всех четырех струнах этого великолепного инструмента, постоянно водя по ним смычком и перебирая их пальцами.

Уильям САРОЯН

Муж прервал на мгновение игру, бросил на нее умудренный взгляд, покачал головой и изрек:

— О женщина! Долог твой волос, да ум недалек. Ну, конечно, у них четыре струны, а их пальцы без конца бегают туда-сюда: они еще не нашли нужную точку, а я уже нашел.

XXV

О невзгодах недовольного жизнью маленького мальчика, в котором отец видел ребенка, а не личность, едва ли догадываясь о том, что всякий, кто познал печаль, не имеет возраста, а значит, не станет исцелять свои душевные раны какой-то там куклой



Недовольному жизнью мальчугану, которого отец привел в гости к своему другу, вручили игрушечный меч и игрушечный пистолет, чтобы ребенок не скучал. Мальчик стал носиться по дому, как угорелый, разя направо и налево всяческих врагов и производя при этом такой шум, что отец и его друг не могли перебраться и парой слов, хотя очень в этом нуждались. Отец попросил мальчика не шуметь, если возможно. Однако оказалось, что это не совсем возможно, и тихая поначалу игра превратилась в шумное уничтожение неприятеля. Поэтому мальчика вновь попросили не расходиться. Результат тот же. Короткое затишье, а потом

тарарам пуше прежнего. Новая просьба не шуметь. Тот же результат. Наконец, папочка, который слышал где-то, что строгость в применении к ребенку иногда не вредит, но не осознавая, что его сын не дитя, а зрелая личность, отобрал у мальчика игрушечный меч и игрушечный пистолет и забросил куда подальше. Это привело мальчика в неистовство и открыло ему глаза: оказывается, настоящий-то враг — его отец! Вот такое ужасное откровение и, очевидно, веская причина для рёва, который был исполнен с большой выразительной силой, задыхаясь, и проч. Ну и, конечно, шуму было больше, чем от боевых действий.

— Да отдай ты ему игрушки, ради всего святого, — предложил друг.

— Не отдам, — ответил отец.

— Умоляю, — сказал друг. — Бедный ребенок прямо исходит слезами. Ему так горько!

— Нет, — отрезал отец. — На этот раз я не собираюсь капитулировать. Я пришел пообщаться с тобой.

— Ну верни же ты ему меч и пистолет, и пусть он взорвет хоть весь мир, если хочет, — сказал друг.

— Ладно, будь по-твоему, — согласился отец.

Он вернул мальчугану игрушки, но теперь они стали ему не нужны. Это окончательно вывело отца из себя.

— Вот тебе меч, вот пистолет, — сказал отец. — Ломай, круши!

— Нет, — упрямяствовал мальчик.

И зарыдал горше прежнего.

Друг решил прийти на выручку. Мальчик стоял у окна, отвернувшись, плача навзрыд. Шесть лет назад друг отца пошел на карнавал в надежде выиграть автоматический револьвер с перламутровой рукояткой, но вместо этого ему досталась гипсовая кукла — несусветная нечеловеческая образина, нелепость. Но он почему-то решил ее сохранить, на всякий случай, вдруг пригодится.

И вот, как ему показалось, этот случай под-вернулся.

Он поспешил в чулан, где хранилось всякое барахло, которым человек обрастает за долгие годы жизни, достал куклу, поспешил к плачущему мальчику со словами:

— Пожалуйста, не плачь. Если перестанешь плакать, то можешь взять себе вот *это*.

И тут друг отца показал мальчику из-за спины куклу и протянул ему. Тот взял уродливую куклу и перестал голосить. Целых две минуты он изучал ее в полной тишине, а тем временем его отец и друг отца изучали мальчугана. На его щеках высохли слезы. Он испытующе посмотрел на отца и его друга и на самом выразительном в мире языке, на чистейшем армянском заявил — просто и без затей:

— Я отнесу ее домой и сломаю.

Это самая любимая моя армянская история, которую я рассказываю по возможности чаще — и на английском, и на армянском. Но до сих пор она ни у кого не вызвала смеха. Тогда я начинаю ее разъяснять и раскладывать по полочкам. Но и это не помогает — никому не смешно, и всё тут.

А вот мне — смешно, и даже очень.

XXVI

*Потрясающая притча бабушки Люси
о трех советах, о том, как они помогли
заурядному мужу вернуться домой
к малосимпатичной жене
через восемнадцать долгих лет, и о том,
как лично я воспользовался бы
четвертым советом*



Как-то воскресным днем бабушка Люси рассказала мне сказку о муже, который целыми днями сиднем сидел дома и никуда не выходил.

Его жена отправилась за советом к мудрецу — что же ей делать? Мудрец велел ей взять изюминку и бросить ее перед мужем так, чтобы тот не мог до нее дотянуться. Тогда он встанет, нагнется, подберет изюминку и съест. Затем жене было велено бросить еще одну изюминку, чтобы муж все время продвигался ближе и ближе к двери, и так до тех пор, пока он не выйдет из дому. Так и было исполнено. После чего жена захлопнула за его

спиной дверь и наказала не возвращаться домой, пока не разбогатеет.

За все эти годы ему удалось нажать всего три золотых. Всё-таки, это деньги.

И он решил вернуться к жене.

По дороге домой ему встретился мудрец, восседавший на ступенях городского общественного здания. Мудрец давал советы на разные случаи жизни по цене один золотой за совет.

Бедный человек подумал и решил: все равно три золотых не Бог вещь какие деньги, куплю-ка я у него совет. И купил. Совет гласил:

Не говори плохо о плохом.

Этого было маловато, и бедняк заплатил второй золотой еще за один совет:

Что бы ни случилось, не бойся воды, будь то дождь, поток, река, озеро или море. Смело бросайся в воду и плыви. Господь Бог вынесет тебя в безопасное место.

Этот совет только напускал туману, и бедняк решил отдать последний золотой за третий совет, который состоял из одного-единственного слова:

Терпение.

Поблагодарил бедняк мудреца и ушел восвояси. Он зашагал по пустыне, поскольку не было у него ни осла, ни коня, ни верблюда. Не прошел он и десяти миль, как встретился ему караван верблюдов. Погонщики были чем-то очень озадачены.

В крохотном колодце в пустыне, казалось, была вода, но никто не мог ее достать, чтобы утолить жажду — ни человек, ни зверь. А верблюды так устали, что не могли ступить и шагу.

Бедняк вспомнил наставление мудреца: *не бойся воды*.

Он велел караванщикам опустить его на веревке, а потом подать ему ведра, горшки и жбаны, чтобы всех напоить.

Так они и сделали. Он был очень доволен, что приобрел этот совет, и когда люди и животные напились, крикнул им, чтобы продолжали поднимать наверх воду. Те в недоумении спросили, на что им столько воды. Он сказал, чтобы они помылись сами, а затем выкупали животных, а потом сделали ручеек из этой воды. Что и было исполнено.

Когда вода сошла, бедняк увидел золотую дверь невиданной красоты. Когда воды стало совсем чуть-чуть, он отворил дверь и вошел в роскошный зал, каких ему еще не приходилось встречать. Тронный зал. На троне восседал седовласый царь. На одном колене он держал большущую осклизлую зеленую жабу, всю в бородавках, а на другом — змею, извивающуюся толстенными кольцами.

Бедняку показалось странным, что столь мерзкие твари находятся в столь прекрасном месте. Старец поднял глаза на бедняка и сказал:

— Добро пожаловать тому, кто вошел туда, куда сотни лет не заплывал даже угорь.

Бедняк испытывал благоговейный ужас при виде богатства и величия, окружавших его со всех сторон, но все же пребывал в недоумении.

Царь спросил:

— Что это у меня на коленях?

Бедняк вспомнил первый совет мудреца: *не говори плохо о плохом*.

И ответил:

— Сила и молодость.

И в тот же миг отовсюду высыпало видимо-невидимо видных, статных, крепких юношей. А жаба со змеей сгинули.

Царь, который сотни лет дожидался появления такого человека, как этот бедняк, остался очень доволен.

— За это я одарю тебя всем, чего ты ни попросишь!

Бедняк рассказал царю, что приключилось с ним в жизни за последние восемнадцать лет.

Царь осыпал его золотом и драгоценностями, которых хватило бы и десяти царям, и велел возвращаться к жене. Бедняк купил караван, растянувшийся на пять миль, щедро за него заплатив. И вот он дома.

Прежде чем переступить через порог своего дома, он говорит про себя: «Дай-ка я посмотрю, верна ли мне моя жена».

Залез на крышу и, заглянув в щелочку, увидел две кровати (свою и жены). На одной спала жена, а на другой — какой-то мужчина.

Бедный человек очень загоревал.

Как рассказывала моя бабушка, богатство потеряло для него всякий смысл. Так или иначе, решил он спрыгнуть с крыши и убить этого мужчину, свою жену, а затем себя.

Но ему пришел на ум третий совет: терпение. И он решил полежать на крыше, посмотреть на небо.

Через несколько минут он услышал, как зашевелился на своей кровати мужчина, затем он встал и сказал:

— Мама, я хочу пить.

Так вот и сказал.

И тут бедный человек понял — это же его сын!

На рассвете он слез с крыши и постучал в дверь. Ему открыла жена, но не узнала его.

— Я - муж твой, — сказал он. — Ты выгнала меня из дому восемнадцать лет назад и наказала не возвращаться, пока не разбогатею. Я вернулся с богатством.

Жена увидела караван из сотен верблюдов, навьюченных всякими диковинами.

Она пригласила мужа в дом, обняла и показала ему сына.

Моя бабушка считала, что это чудесный рассказ, но мне от него стало грустно, потому что жена оказалась скверной, а муж — глупым. Чересчур. Даже для легенды.

XXVII

*Чудесное превращение
прекрасной падчерицы, замурованной
в башню злокой-мачехой*



А еще бабушка рассказывала мне поистине чудесной красоты историю про девочку и мачеху.

Бабушка по простоте душевной рассказывает ее мне, по меньшей мере, один, а то и целых два раза в год вот уже на протяжении двадцати лет. Изюминка повести вот в чем: однажды злая мачеха замуровала красивую падчерицу в основании высокой башни, но та умерла не сразу. Перед самой ее смертью что-то произошло — полагаю, во вселенной или в сердцах людей — и девушка превратилась в стайку ласточек, соловьев и других прекрасных птиц небесных, которые вечно кружат у башни, оглашая окрестности печальными, сладостными и щемящими песнями.

СЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ





ЭТА КНИГА – ПРИВЕТСТВИЕ

МОИМ СОВРЕМЕННОКАМ,

ЖИВУЩИМ В АРМЕНИИ

И ПИШУЩИМ ПО-АРМЯНСКИ:

ГРАНТУ МАТЕВОСЯНУ, ПРОЗАИКУ;

ВААГНУ ДАВТЯНУ, ПОЭТУ;

ЛЕВОНУ МКРТЧЯНУ, КРИТИКУ;

РАЗМИКУ ДАВОЯНУ, ПОЭТУ;

СЕРО ХАНЗАДЯНУ, ПРОЗАИКУ;

МАРО МАРКАРЯН, ПОЭТУ;

ГРИГОРУ ГУРЗАДЯНУ, АСТРОФИЗИКУ,

ХУДОЖНИКУ И ФИЛОСОФУ.

А ТАКЖЕ ПРИВЕТСТВИЕ АРМЕНАКУ САРОЯНУ,

МАЛЕНЬКОМУ ПРАВНУКУ

АРМЕНАКА САРОЯНА ИЗ БИТЛИСА,

РОДИВШЕГОСЯ В 1874 ГОДУ

И УМЕРШЕГО В САН-ХОСЕ В 1911.

1



Особенность тех, кого мы встречаем первым делом по прибытии на этот свет, та, что они такие, какие есть; имей мы право выбора, может, мы вовсе не стали бы с ними связываться. Наши встречи — случайные встречи.

Конечно, каждый из нас с двух до двенадцати лет пристально изучает этих людей, ставит под сомнение их право иметь к тебе какое-то отношение. Ведь ты — центр мироздания, оправдание всему, что было, высшее достижение всеобщих усилий, венец природы. Человек и сверхчеловек, если уж на то пошло.

Неужели это мои родители? Женщина, вздорная и взбалмошная, — моя мать? Мужчина, крикун с диким взглядом, — мой отец? Как могли такие люди оказаться моими близкими? Верно, где-то произошла чудовищная ошибка.

Конечно же, произошла.

И мысль об этой чудовищной ошибке преследует буквально каждого до тринадцати, а то и четырнадцати лет. Порой даже после тридцати ее

не удастся исправить, во всяком случае, хотя бы о ней забыть. То и дело видишь чудаков, которые до самой смерти из-за нее страдают.

Эти удивительные, ранимые натуры – гении. Но есть гении, которые испытывают чувство безграничного восхищения перед матерью и отцом. А если даже они не преисполнены восхищения, не испытывают к ним любви, то по крайней мере, не остаются к ним безразличны, и им никогда не приходит в голову отделаться от своих родителей.

И эти гении – счастливчики, назовем их так, – как правило, самые гениальные.

Впрочем, чаще всего гении – те, кто не может или не хочет избавиться от ощущения, что он глупейшим образом стал жертвой всеобщей ошибки.

Потребность, внезапный порыв или упорное желание исправить ужасную ошибку и заставляют его творить, искать более совершенные формы изначального – всей этой каши, всей этой вселенной, если хотите, всей солнечной системы, всего мира, всего рода человеческого, всей истории заблуждений, неудач, безумия и смерти. Легенды, рассказы, драмы, религии, города, здания, дороги, корабли, музыка, танцы, хирургия, печатное слово, бумага, живопись, скульптура и все-все-все, как это ни назовешь, и есть то, с чем гений имеет дело и в чем себя проявляет.

Что он стремится исправить, одухотворив светом своим.

Конечно, это стремление – единственное наше богатство, а остальное, когда подводишь итог,

много меньше, просто ничто: остальное прах, пыль, невидимые шлаковые груды ошибок и потерь величиной с солнечную систему.

Гениям удается совсем малое по сравнению с тем, чем одаряет нас природа, по сравнению со всем сущим, нашедшим свое место под солнцем; но это малое — единственное, о чем можно сказать, — оно воистину наше, его мы создали сами, оно останется после нас, после непрекращающихся усилий проявить себя в мире путем, изобретенным нами или дарованным природой всему воспроизводящему и продолжающемуся; а самое удивительное под солнцем — наша способность выжить и наше умение воссоздавать самих себя вот уже миллиарды лет — в том, что мы делаем руками своими, в Искусстве, детище безумных, наших сердитых мальчиков и дерзких девчонок, наших гениев, наших нигилистов, наших часто болеющих детей, жертв домашнего воспитания, — во всем, чем мы богаты, что называем культурой, цивилизацией, преходящей славой.

Каждый вправе спросить у Бога, почему он таков, каков он есть, и почему ему выпала такая незавидная доля.

Если родителей выбирать не дано, то уж хоть выбирать бы людей, с которыми сталкиваешься в жизни, но нам отказано и в этом...

И родителей не выберешь, и от службы в армии, к примеру, тоже не отвертишься.

2



У каждого существа есть любимое существо, а если он разумное существо или счастливчик, то это любимое существо — он сам, даже если он этого не сознает, или притворяется, что не сознает, или клянется на Библии, что это вовсе не так, ибо его любимое существо, к примеру, Иисус Христос.

Но очень даже часто встречаются люди очень умные, очень интеллигентные, очень мудрые, умеющие разбираться в тайном механизме работы ума и души; и очень даже часто люди эти любят кроме себя, точнее, вместо себя еще кого-то.

Порой они любят какое-нибудь животное; разумеется, что для них оно — кто-то еще.

Вот, к примеру, собака, кто она такая? Собака — тот же владелец, верно? А кошка, кто она такая? Тоже владелец. А канарейка, кто такая канарейка? То же самое. Опять-таки получается, что твой любимец — ты сам, как уже давно подметил Д. Г. Лоуренс.

Ну, а как быть с чудаками, которые держат удавов? С ними дело обстоит точно так же.

А люди, у которых есть дети, один ребенок, двое, трое, четверо, восемь, двенадцать? Кто эти люди? Кто их дети?

Да и тут то же самое, хотя наше общение с детьми ближе к тому, что происходит между взрослыми — сначала один человек тянется к другому, потом принимает его всем сердцем, потом начинает обожать.

Каждый — самый заклятый враг себе и самый верный друг, как принято говорить.

Все вечно толкуют об этом, а сходятся на одном — никто не представляет единого целого, одна половинка вечно ссорится с другой, за исключением тех случаев, когда человек очарован собой и ему кажется прекрасным все, что касается его самого.

Да, но что же касается его самого?

Человек нравится сам себе, а нравятся ли ему его отец, мать, брат, сестра, сосед, друг, весь род человеческий?

Иногда нравится, потому что довольный собой человек часто обладает внутренней силой, энергией, толкающей его к другому.

Обычно человек с большим самомнением, но ничего собой не представляющий, склонен искать изъяны в других, во всем мире, во всем роде человеческом.

Почему?

Да потому что, находя изъяны в других, укрепляешься в любви к себе, в самолюбовании. К примеру, столкнется себялюбец с гениальным

ученым, решит, что слава этого ученого — продукт рекламы, покровительства, благосклонности начальства, конечно, после подобных умозаключений его самолюбование не уменьшается ни на йоту.

Хотя самовлюбленность чаще всего оказывается признаком придурковатости, факт остается фактом — желательно и необходимо никогда не испытывать презрения к себе, если только это не показное самоуничижение, не игра на потребу друзьям, то есть, по сути, сверхсамоутверждение.

Ибо если человек не заслуживает от самого себя хотя бы простого уважения, значит, он просто подлец, и он должен это понимать; перед ним выбор — или перестать быть подлецом, чтобы можно было уважать самого себя, родителей, друзей, весь род человеческий, или же совсем перестать существовать.

Он может убить в себе подлеца усилием воли или погибнуть. Очень просто.

Оставаясь подлецом, он не вправе уважать себя, если только он не втирает нам очки. Но как же мило у некоторых это получается! Правда, если это не наши жены.

3



Больше всего на свете я дорожу встречей с двумя существами. Встреча с ними была воистину счастьем: моего сына Арама я увидел два часа спустя после его рождения, в субботу 25 сентября 1943 года в Нью-Йорке, и дочь Люси — четыре часа спустя после ее появления на свет, в пятницу 17 января 1946 года в Сан-Франциско.

Когда вы видите новорожденного, то есть новую жизнь, кровно близкую вам, вы на самом деле видите что-то, на самом деле узнаете кого-то; я совсем не был подготовлен к встрече с собственным сыном, я подумал: «Парнишка-то староват, выглядит дряхлее какого-нибудь старикашки». И он показался мне таким возмущенным, что я решил: «Эге, да ему не по вкусу все это, ему не нравится, что его засунули в такое маленькое тельце. Ему, видно, лучше было там, откуда он пришел. Он сердится на отца и мать, на весь род человеческий — на всех и вся за то, что они стоворились засунуть его в такое маленькое тельце, вместо того чтобы позволить ему быть повсюду, как раньше».

В этом есть, конечно, доля истины, потому что ведь во всем есть доля истины.

Впрочем, довольно скоро, даже раньше, чем ему исполнилось семь дней, в те минутки, когда он не сердился на меня или еще на кого-нибудь, я умудрился изучить его. И я рад, что познакомился с ним, потому что такое знакомство, такая встреча отца с сыном — правда, теперь уже генетически доказано, что сын чаще всего похож характером не на отца, а на племянника прапрадедушки по отцовской линии, а то и на кого-то еще более непонятного, — такая встреча достаточно любопытное событие, которое подготовили века больших и малых событий.

Как бы там ни было, я все-таки имел самое непосредственное отношение к его появлению на свет, ведь пришелец — юридически и физически — мой сын. И я радовался, что он родился, хоть он и делал вид, что сердится, гневается, обижается, но, к моему удовольствию, это скоро прошло, и он стал втайне радоваться жизни.

И вот он с нами. Я познакомился с ним вскоре после того, как он появился.

Он начал шевелиться, потом он станет расти, меняться, он принесет много хлопот не столько другим, сколько себе — род Сароянов и род человеческий продлит в нем себя и пойдет дальше с верой и неведением, ни в том, ни в другом не достигая полноты.

Так и случилось. Он сражался и побеждал. Сражался и побеждал. Он встретил девушку и женился на ней. У них родилась своя собственная

дочка, скажем так. Мне нравится стишок, какой мой сын посвятил своей дочке, он опубликовал его в «Пари ревью» в 1972 году:

*маленькая —
вот она
какая.*

Мне нравится стишок. Мне нравится сын. Нравится его жена. И особенно его дочка.

Я увидел малышку, когда ей было четыре месяца. Она была тиха и светла, как мудрец. Мне это понравилось.

Я правда рад, что встретил своего сына.

И что встретил дочь. Но если внешность сына сразу после появления на свет и его отношение к внешнему миру меня несколько смущали, то дочь повергла в изумление. Когда она подросла и стала расспрашивать меня, как все случилось, я рассказал ей, что личико ее первое время было асимметрично, может, оттого, что во время родов акушерка накладывала щипцы.

Кто знает? Я-то уж точно не знаю. Дочке было лет шесть-семь, когда мы с ней впервые заговорили об этом. Я еще рассказывал ей, что она была до того страшна, что, кое-как изобразив восторг при виде ее, я тут же выскочил в холл роддома Сан-Франциско и стал себя утешать: «Что ж с того, зато она будет очень умной. Может, станет писательницей».

После знакомства с отцом и матерью, знакомством с сыном и дочерью эта часть нашего опыта завершается.

4



У всех живых существ свои лица: у львов, слонов, верблюдов, китов, акул, коров, овец, лягушек, головастика, орлов, тигров, антилоп, канареек, комаров, червей, бабочек, кошек, мышей, летучих мышей, собак, лошадей — называю наугад.

Ну, а вот у людей часто бывают лица других существ. Порой даже лица неодушевленных предметов. Кто из нас, к примеру, не встречал человека с лицом, похожим на яблоко?!

Прежде всего в лице человека обращают на себя внимание глаза, так по крайней мере принято считать, но не всегда это подтверждается фактами. К примеру, у жабы большие глаза, и поначалу они кажутся неприятными, а потом к ним не просто привыкаешь, они даже начинают нравиться по той причине, что очень подходят жабе. И оказывается — у жабы глаза, в общем, вполне сносные, если не сказать привлекательные. Но человеку, конечно, совершенно не к лицу громадные глаза.

Главное же в лице то, что определяет личность — нос, потому что если у тебя большой нос, то ты должен вести себя как человек с большим носом; кто не помнит душераздирающую историю Сирано, написанную Эдмоном Ростаном, который, говорят, был армянином?! Кто так говорит?

Некоторые армяне, и при этом с гордостью добавляют: «Кто же, как не армянин, написал бы пьесу о человеке с большим носом?! Нет, сэр, не спорьте, Эдмон Ростан — армянин, и если уж вы настаиваете, я могу объяснить, как офранцузили его имя. Эдвард Ростомьян или что-нибудь в этом роде — вот его настоящее имя, он поступил мудро, как подобает армянину: изменил свое имя на Эдмон Ростан, и надо сказать ему спасибо, а не говорить, что ему вовсе не следовало менять имя».

Каких только не бывает носов, и люди с носами не самой совершенной формы вечно сокрушаются и держат обиду на родителей, по крайней мере на одного. Но даже носы меняются. Нос, в юности подобный шпаге, в зрелости чуть больше похож на щит, к старости, глядишь, уже вроде пуговицы.

Вот о чем я с гордостью сразу же хочу заявить. Первое: от рождения у меня был, можно считать, безукоризненно римский нос, но его разбили бейсбольной битой, когда мне не было одиннадцати, потом, в двадцать два и сорок четыре, ему опять досталось, оба раза в автомобильных авариях.

Мой нос дважды становился объектом внимания хирургов, оба раза идиотов, которым больше

пристало торговать коврами, потому что всерьез их волновали только деньги.

И второе: я с гордостью заявляю, что я, как и Эдмон Ростан, — армянин. Важно выяснить такие вещи сразу, а потому предлагаю читателю изучить собственный нос и определить, какой он, то есть читатель, национальности.

5



Люблю каждый день отправляться на улицу и находить там какую-нибудь историю.

Конечно, не так это все просто, а если по правде, я даже вовсе не люблю выскакивать каждый день из дома и наткаться на какую-нибудь историю. Люблю просто выйти, выйти. Я ведь могу и сидючи взаперти выбрать любую из десятка тысяч историй, что вечно забивают мне голову, глаза, уши, нос, горло.

Когда наступает пора писать, ты уже побывал на улице, уже нашел историю, по крайней мере одну за день, может, две-три-четыре. Может, даже дюжину за день.

Что такое история?

Это писатель, решивший ее написать. Что-нибудь вспомнить, а что-нибудь придумать. (Получается, в общем, одно и то же.)

Но вот однажды в пасхальное воскресенье, когда я вышел в три часа пополудни, кое-что произошло.

Я очутился в старой церкви Святой Троицы и стал медленно ходить там.

Прошел мимо какого-то чиновника, он стоял в неглубокой нише, смотрел, не отрываясь, на сотни

горящих свечей. Я совершенно не мог понять, что гложет его, почему он так стоит.

Накануне вечером я прочел последнюю главу «Красного и черного» Стендаля. В этой главе все ходят в церковь и все зажигают свечи, правда, речь шла о 1830 годе, а в тот пасхальный день был 1972 год. Но что заставило обыкновенного парижского чиновника прийти в церковь Святой Троицы, остановиться перед зажженными свечами, смотреть, не отрываясь, на пламя, может быть, даже молиться?

По правде говоря, сюжет «Красного и черного» всегда казался мне немного мелодраматичным и потому смешным. А ведь роман этот считается классикой, крупным достижением.

Каждый там занят собой, находится во власти собственных амбиций и весьма недалеких умозаключений, притом относится к ним с чрезмерной серьезностью. Герой — бестолковый и скучный парень.

Не могу понять, как удастся ему завоевывать расположение стольких людей и так надолго. Им небось кажется, что это все происходит с ними, даже когда его отправляют на гильотину за то, что он дважды стрелял в церкви в женщину, а эта самая женщина (она приходит к нему на свидание в тюрьму, она любит его безумно) идет к жене, законной обладательнице его бездыханного тела, его отрубленной головы. Она видит, как та целует в губы своего мужа, — это странно и глупо и вовсе не свидетельствует о страсти, любви, беспомощности, печали, отчаянии или хотя бы о безумии, это всего лишь небольшой кусок написанного текста.

Долго ли будет церковь властвовать над странными, несчастными, обманутыми, самыми обыкновенными людьми — в романах и в жизни?

И вот, побродив по церкви Святой Троицы, я вышел на авеню Клиши, прошел мимо казино, где блистает длинноногая танцовщица Зизи Жанмер, правда, на театральных афишах она выглядит иначе, чем на одном голливудском приеме двадцать лет назад. Тогда она была воплощением молодости, жизни, а сейчас она — воплощение неестественности, результат жалких потуг и контроля над собой.

Повсюду собаки на поводках, тянут через дорогу своих хозяев, хотят догнать других собак.

И вот я поднялся вверх и оказался на улице Монси у антикварного магазина, заглянул в окно. Его владелец, бедняга, недавно в одночасье отдал Богу душу, и сейчас весь хлам пойдет с молотка.

Да, но где же история, в поисках которой я отправился по городу?

Я шел вдоль бульвара Клиши, по обе стороны которого были магазины Пигаля, их хозяева грели руки на порнобизнесе. Ко мне подскочил человек, похожий на бобра, и представился: «Я — Ваник Ваникян из Бейрута. Я скульптор, я преклоняюсь перед Генри Муром»¹.

Мы постояли и поболтали минут пять, вот вам, друзья мои, и вся история, и не нужно, прошу вас, больше ничего придумывать и додумывать.

¹ Мур Генри (род. в 1898 г.) — английский скульптор. Пигаль Жан-Батист (1714–1785) — французский скульптор, представитель классицизма. Сароян обыгрывает ситуацию. (Здесь и далее — примечания перев.).

6



Меня озадачивают люди, с которыми я познакомился, а потом забыл. И не со всеми, признаюсь, я познакомился на приемах.

Дело в том, что я не ходил на приемы, пока не выдвинулся — да, кажется, так говорят.

Когда моя первая книга увидела свет, я оказался в Семейном клубе Сан-Франциско (меня туда случайно привел знакомый архитектор). В туалете один из самых богатых людей города, оправляясь рядом со мной в изящную фарфоровую вазу, весело спросил: «Сэр, где же вы все это время пропадали?»

Он на самом деле был уверен: я, двадцатипятилетний парень, виноват, что не встречался с ним, богатым и знатным шестидесятишестилетним стариком.

И что я ответил?

Уже не помню, но уверен, что ответил глупо, вообще толком не смог ответить, не смог поставить

его на место, впрочем, он чувствовал себя всегда на своем месте.

Вероятно, я пробормотал нечто вроде: «Да нигде особенно», или «Знаете, я работал в доме 348 по Карл-стрит», или «Далеко», что в общем-то было даже правда — я тогда учился писать, а человек, решивший стать профессиональным писателем, безусловно, должен держаться ото всех подальше, оберегать себя от чужих посягательств, не отвлекаться. Не якшаться, к примеру, с богачами вроде старика у писсуара в Семейном клубе Сан-Франциско — ведь это тоже отвлекает.

Я никогда больше не видел его, он скрипел еще лет десять—двенадцать. А ведь мне доводится сталкиваться с людьми, с которыми однажды судьба свела меня лет десять, двадцать, тридцать, даже сорок—пятьдесят назад. Другими словами, он умер, но был момент, когда мы стояли рядом в туалете и переговаривались.

Я ощущаю тоску по тем, кого встречал, но не запомнил, потому что если мы не помним людей, их нет на свете, а если кого-то, кого я встречал, нет на свете, для меня это ужасная потеря, неважно, страдает ли из-за этого он сам.

В Клубе авиаторов на Елисейских полях в 1959 году я встречал множество игроков, тех, кто приходит поглазеть и кто играет каждый вечер, встречал аристократов и зазывал, преступников и сыщиков, служащих Корсиканского казино, армян, негров-американцев, африканцев, азиатов, людей, в жилах которых понамешано разных кровей.

Я одалживал деньги всякому, кто решил пожить за мой счет, но ни один не пришел ко мне потом сам, чтобы вернуть долг после того, как выиграл.

То и дело мне приходилось напоминать такому игроку, что не мешало бы вернуть должок, а он, бывало, изображал удивление и неловкость за свою короткую память и быстро возвращал деньги.

Иной спрашивал, сколько задолжал: тысячу или две, а когда я отвечал, что сто тысяч, говорил, что я ошибся, на самом деле всего тысячу, и протягивал купюру, которую, естественно, я не брал.

Один тип даже утверждал, будто одалжил деньги не у меня, а у мистера Хестатина из Голландии, ведь он всегда одалживает только у мистера Хестатина из Голландии. С какой стати вдруг понадобилось ему обращаться за помощью ко мне? Что до меня, я слыхом не слыхал о мистере Хестатине и по сей день не уверен, правильно ли пишу его фамилию.

Бывало, после напоминаний должник возвращал точную сумму, но делал это торопливо, давая мне понять, что у него нет охоты терять время на человека, который одалживает пустяки, а потом требует вернуть долг, будто это положено по закону, а если положено, что ж, он полностью подчиняется этому мелкому, дешевому, придирчивому закону.

Иногда он говорил, что непременно вернет долг, но только не сейчас, потому что возвращать деньги, когда везет в игре, — дурная примета. Потом, спустя час или два, когда он снова начинал проигрывать, он подходил ко мне, просил оказать

ему любезность, одолжить еще сто тысяч франков и не считал это дурной приметой. И уходил страшно рассерженный, если я говорил, что сам проигрался и помочь ему не могу. Словом, давал понять, что только идиоты проигрывают в Корсиканском казино собственные деньги. А у него нет времени на идиотов.

Всю жизнь я забывал подобных людей, но, видно, не совсем забыл. Я помню их смутные, стертые тени — образцы комического поведения, и мне даже жаль их — ведь у них нет лиц.

7



Кто-то вечно просит кого-то начать все сначала и точно рассказать о произошедшем без добавлений и уточнений, будто добавления и уточнения не являются неотъемлемой частью самого происшествия. Особенно часто такое бывает на заседаниях суда.

И какой-нибудь адвокат, прошедший курс науки, говорит какому-нибудь поэту, который в школу-то никогда не ходил:

— Ну-с, господин Тутунджян, расскажите нам своими словами, что же случилось 1 января 1919 года, когда вы попали к себе домой на Эл-стрит, 248, между Сант-Бенито-стрит и Санта-Клара-стрит, утром в четыре часа четыре минуты и почувствовали запах дыма, что вы подумали, что вы сделали, скажите нам только это и больше ничего.

А поэт в отчаянии оглядывается по сторонам, словно хочет спросить: «Боже мой, откуда этот адвокат свалился на мою голову? Все советовали мне пойти к господину Чикенхоуку, вот я и пошел к господину Чикенхоуку, а не к нашему Хорену

Киюмджяну, а этот адвокат американец все уже сам сказал, а теперь хочет, чтобы я рассказал то, о чем он уже рассказал, да еще велит мне рассказывать своими словами, а ведь они вовсе не мои — они его слова».

У нас в семье есть адвокат, Арам из Битлиса, и я частенько узнаю о делах, которые слушаются в суде, и о чудном поведении свидетелей, обвинителей, судей, судебных заседателей. И очень скоро я понял, что буквально все одержимы идеей говорить прямо, не отклоняясь от сути, но это просто невозможно. Так не получается.

На самом деле, чем упорнее стараешься быть последовательным и называть вещи своими именами, тем больше запутываешься; и один армянин, проиграв дело, сказал: «Да, узел, его только топором теперь рубить».

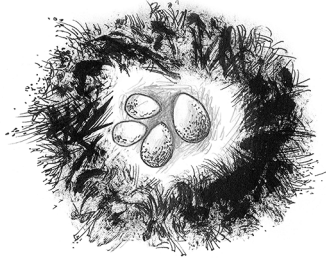
Но идея сама по себе хороша. Если можешь говорить прямо, без прикрас — это замечательно.

Однако не так важно ясно изложить, что случилось, как ясно понять, что случилось, а это невозможно: причина обычно смехотворна.

Даже когда событие простое, очень трудно его точно описать, но если ваш дом горит — это не простое событие; впрочем, простых событий вообще не бывает.

Господина Тутунджяна обвиняли в поджоге, а его адвокат господин Чикенхоук добился оправдания и гордился этим; он сам далеко не был уверен, что его клиент поджег собственный дом, но если он и поджег, то в отместку страховой компании, которая водит за нос неученых поэтов.

8



Всякие случайные типы, которых ты и знал-то недолго, застревают в памяти, и это всегда казалось мне признаком работы ума и памяти, признаком нашей бесконечной сложности, которая и составляет суть личности.

К примеру, я никогда не мог понять, на каком принципе основан отбор памяти, если и правда у нее есть этот принцип, если она отбирает не просто по капризу, а может, и по злему умыслу.

Реальность существования людей, которые нам ближе всего — короче, наши близкие, — самая неоспоримая реальность, и потому, конечно же, мы естественно их запоминаем.

Но как же случайные люди, вечно застревающие в твоей памяти с того самого момента, как она пробуждается?

Почему одного запоминаешь, а другого забываешь?

В школе Эмерсона во втором классе учился мальчишка, чье имя врезалось мне в память, потому что было необычно: Эльф.

Этот мальчишка то и дело попадался мне на школьном дворе во время переменок, и, ни словом не перебросившись, мы стали друзьями.

Он был из английской семьи, очень бедной, очень трудолюбивой и очень честной.

Однажды в субботу он приехал из своего дома к нам в армянский квартал и нашел меня во двореке, примыкавшем к дому 22/26 по Сан-Бенито-авеню.

— Я знаю, где водится полосатая зубатка, — сказал он тихо.

Конечно, всем ясно, что рыбная ловля и всякие игры — возжеленная мечта мальчишек: птицы, кролики, змеи, рыбы, все живое, красивое, двигающееся, способное избежать расправы, за чем можно устроить погоню, но что по собственной воле не сдастся в плен.

Я сказал по собственной воле, потому что в персиковом и абрикосовом саду Ваагна Минасяна, который он называл «Глорьетта», сад был чуть к северо-западу от Рединг-парка, я частенько взбирался по подставной лестнице к гнезду воркующей голубицы — мягкой, серой, прекрасной; то было удивительное совершенство формы, рисунка, смысла — словом, птица.

А мне хотелось реально ощутить ее великолепие. Я и не думал причинить вред птице, схватить ее, хранить у себя, как предмет, приготовить из нее какое-нибудь блюдо и съесть, просто хотел добраться до нее и дотронуться, я надеялся, что она не станет сопротивляться. Но всякий раз она сопротивлялась,

неожиданно с шумом вылетала из гнезда, оставив четыре удивительно прекрасных маленьких яйца в чаше гнезда удивительно совершенной формы. Конечно, я не притрагивался к яйцам, потому что где-то слышал, что если притронешься — голубица не захочет к ним вернуться. Странно. Однако, даже тогда не очень веря, но допуская возможность, что это так, я никогда не трогал яйца и не брал их, в отличие от многих ребят, которые их коллекционируют.

Мне просто хотелось, чтобы птица знала — я ее друг, и на следующий день я снова карабкался по лестнице в надежде, что она непременно поймет: я ее друг, и она не станет пугаться, рваться прочь, бешено хлопая крыльями.

Но мой план всякий раз проваливался, и я запомнил этот урок. Птицы не хотят иметь дело с людьми. Птицы и люди видят друг друга, но друг друга не понимают.

Хотя есть довольно известная фотография Грея оф Фалладона¹ с маленькой птичкой, примостившейся у него на голове. Спустившись с небес, это крохотное существо подружилось с полуслепым стариком, а старик преисполнен гордости, что его выбрала маленькая птичка. Такое тоже бывает.

Я спросил:

— Где полосатая зубатка?

— За Солнечной девой.

Это означало на заднем дворе, за складом изюма, около мили на юго-восток.

¹ Эдвард Грей (1862–1933), сэр Грей оф Фалладон, английский государственный деятель, в 1919 году уехал в США.

И мы пошли; мы тихонько болтали в дороге, не помню о чем, хотя помню точно, что я задавал уйму вопросов, расспрашивал о том, что скоро увидел собственными глазами.

Мы пришли к почти высохшему котловану, в сохранившихся кое-где лужах действительно плавала самая разная рыба.

И мы увидели полосатую зубатку с усиками, но поймать не сумели. Мы крались, шлепая по воде, а потом стремительно прыгали за добычей. Около часа мы провели в тени деревьев, и я никогда этого не забуду.

Вот и все. Но почему память выбирает именно такой эпизод, сохраняет его, а не другие, которых так много?

9



Знавал ли я какого-нибудь человека, который постоянно вызывал во мне полный восторг? Пожалуй, нет. И вот вопрос: может ли подобный человек оставаться таким долго-долго?

Моя дочка, тем не менее, до шестнадцати лет, особенно до шести, каждый день вызывала во мне восторг своей простой красотой и своей безыскусной правдой.

Не стану вдаваться в подробности и объяснять причины, потому что это невозможно объяснить; только она, казалось, не принадлежала к роду человеческому, хотя мы, конечно же, понимаем, что это не так. Но она была нечто иное.

Даже дыхание ее было иным. Она дышала одним с нами воздухом, а когда она вдыхала его, он становился иным. И действовал на нее по-иному, совсем не так, как на нас. Голос ее, к примеру, не был голосом человеческим. Он был мягким и обволакивал нас, и, слыша его, мы не знали, что

делать, как проявить безграничную преданность ему, и не задумывались над тем, почему же этот голос иного порядка и дыхание тоже иного порядка.

Даже когда маленькое тельце, содержащее незнакомого и непостижимого человека, бесконечно реального и постепенно меняющегося каждый день и каждое мгновение каждого дня, когда это тельце внезапно охватывал гнев, вызванный предательством или жестокостью окружающих, к примеру, брата, который был старше на целых два года, тогда оно начинало дышать глубже и учащеннее, готовясь закричать в гневе; и голос вдруг казался голосом существа, определенно принадлежащего к роду человеческому, правда, только казался, к счастью — к счастью для всех нас, особенно для меня, отца.

Дочка обрушивала шквал угроз и оскорблений на своего обидчика и все равно вызывала во мне восторг, и я не уставал удивляться чуду и тайне всего этого.

Как такое происходит?

Что ж, не знаем как, и неважно, потому что незаметно она меняется — и внезапно вы видите юную леди, принадлежащую этому миру, реальному миру. Этому реальному, реальному, реальному миру, чтобы сказать полнее и точнее.

Что происходит с детьми?

Уверен, очень похожее на то, что я видел в своей дочери, когда она была крошкой, безусловно, видят и другие отцы в своих дочерях, а потом волшебство исчезает, словно пушинки с одуванчика. Маленькие

существа, образующие дивный круг вечности, понемногу отрываются друг от друга, линия незаметно прерывается, и кончается часть жизни, кончается история еще одной маленькой девочки.

Все это уже причиняло страдание многим поэтам, талантливым, но лишенным здравого смысла, и зовется это неизбежностью.

А подобная неизбежность вещь достаточно обычная, чтобы заслуживать того внимания и уважения, какие ей уделяются.

Нечто вроде скачка через миллиард лет опыта, так сказать, пресуществляется в крошечном тельце, вновь прибывшем к нам из иного мира.

Теперь моя дочка здесь, собственной персоной, вот она вся, не сохранившая ни малейшего воспоминания о мире ином, о пути, об истине. И ничто в ней не напоминает иной мир, иные времена, разве что тихий, мягкий вечерний вздох.

Да, знакомство с моей маленькой дочкой было наслаждением, а с сынишкой очарованием. И так длилось до тех пор, пока каждый из нас не стал полноправным членом рода человеческого — по вкусам, по опыту, поведению, по внешности, целям, по судьбе, по закону.

Что ж, вот так все и происходит, и мир продолжает жить, и род человеческий остается человеческим, глупым — и одновременно бесконечно очаровательным в своем безумии, бессмысленности, тщеславии.

Ну, а кто еще может вызвать восторг? Дочь и сын, вот, в общем-то, и все.

Но может, все-таки еще кто-нибудь?

Что ж, я много встречал людей, знакомство с которыми было недолгим, но доставило мне наслаждение, — впрочем, в том-то и секрет, что я знал их недолго. Они были вовсе не такими, какими мне казались. Они были удивительны и обворожительны именно в то короткое мгновение.

10



Я внимательно присматриваюсь к людям, умеющим рисовать, писать кистью и прочее, потому что они пользуются языком, который, по-моему, вряд ли хуже языка слов.

Если кто-то умеет играть на музыкальном инструменте, меня переполняет изумление и восхищение, даже если он играет «Янки Дудл» на десятицентовой гармошке.

Я и сам пытался рисовать карандашом и красками и пытался музицировать на дешевеньком десятицентовом инструменте, потому что и не мечтал разжиться долларом и купить настоящую гармонику, я только и мог позволить себе десятицентовую поделку, изготовленную на сумасшедшей фабрике, где варганят все для быстрой продажи, недолгого пользования и скорой поломки.

Картинки, которые я рисовал карандашом, часто доставляли мне удовольствие, особенно на следующий день, когда я уже забывал, что пытался изобразить.

А те картинки, что я рисовал красками, тоже иногда получались — если я изображал зверей, дома, дороги, дым, а не пытался воплотить какие-нибудь идеи. У меня, правда, неплохо получались цветные абстрактные рисунки, которые вечно хотят рисовать дети, но редко рисуют, напуганные немой преклонением взрослых перед буквальной схожестью с натурой.

Всякий знает, что в каждом городе есть свои художники-любители. Эти люди делают вещи, которые продать невозможно, и ценность их определить невозможно, и на них нет спроса.

Во Фресно великим мастером такого рода был молодой темноволосый парень, его звали Саркис Сумбулян; он рисовал чернилами древние, овеянные легендами замки на вершинах гор под грозовыми тучами и давал им очень красивые названия, к примеру, Троймерай. А когда его спрашивали: «Что это значит?», он отвечал: «Троймерай по-немецки — мечты».

Саркис Сумбулян рисовал свою мечту. Она была навеяна музыкой Шуберта, а сам он в своем убогом домишке на М-стрит армянского городка пристраивался после ужина у стола, и пока все остальные члены семьи читали газеты, беседовали, он не торопясь рисовал — и так часа два-три кряду, пока рисунок не был закончен. Там, внизу, где положено, он писал красивым почерком: Троймерай. Саркис Сумбулян. Фресно. Декабрь 1918.

В то время ему было около двадцати, и он уже не учился. Диплом об окончании школы висел

на видном месте в столовой, а он вносил свою лепту в семейные доходы тем, что подрабатывал на фруктовых складах, в магазинах, в конторах, выполняя подсобные работы.

Но он был художник. Не кто-нибудь.

Раз в неделю он заканчивал новый рисунок.

Бумага стоила цент за лист, и ее продавали по пятьдесят листов в пачке, скрепленных с одного бока, так что когда рисунок был готов, он отрывал его от пачки.

Обычно он сразу же отправлялся со своим рисунком к младшему брату моего отца Мирану, и они вместе долго рассматривали его.

Органые картинки — так я их называл. В каждой звучал низкий, протяжный стон печали.

У Саркиса Сумбуляна случилось нервное расстройство, а стали говорить, что он помешался. В двадцать четыре года он уехал из нашего города.

Однажды Миран сказал мне:

— Он в Лондоне. Саркис Сумбулян в Лондоне, он рисует в Лондоне. Он прислал мне письмо по-армянски.

Вот так. Мне не довелось узнать, как повернулась жизнь Саркиса Сумбуляна в Лондоне. Или где-то еще. А может, он умер.

11



Я часто воспевал свою любовь к Битлису, потому что это город моего народа, затерявшийся в горах, там живет в каком-то смысле особая нация. Вообще-то Битлис населяют люди трех национальностей, и они испытывают друг к другу даже бóльшую привязанность, чем к собственным соплеменникам в других городах: это армяне, курды, турки.

На первом месте я поставил армян, потому что Битлис — часть древней Армении. На второе — курдов, потому что Битлис географически принадлежит им. И на последнее я поставил турок — они самыми последними пришли сюда.

И вот когда большинство битлисских армян поняли, что в этом городе в лучшем случае их ждет судьба героев и им не избежать насильственной смерти, они крепко призадумались; надо было решать, что делать — остаться и умереть на своей земле или же переселиться в Америку и там жить до глубокой старости. Многие выбрали второе

и поехали в Америку: в Нью-Йорк, Род-Айленд, Массачусетс, Иллинойс, Мичиган, а больше всего — в Калифорнию, впрочем, армяне осели во всех частях Америки и, безусловно, во всех частях света.

Вспомним немаловажный факт — в 1915 году во всем мире едва насчитывалось три миллиона армян, включая людей с половинкой или четвертью армянской крови, как принято по армянскому счету. Им и в голову не приходит, что наполовину англичанин, немец, русский, ассириец, грек, француз, итальянец, ирландец, испанец, португалец или американец может не считать себя армянином.

Могу только сказать, воспевая свой Битлис, я был беспомощен, и это, похоже, правда.

Любого встречного во Фресно, показавшегося мне незаурядной личностью, я тотчас спрашивал, откуда он родом, откуда родом его родители, и почти всегда слышал в ответ: «Мы из Битлиса».

Мне это было приятно, и я думал: «Тоже из нашей семьи».

Одним из самых выдающихся людей Фресно в двадцатые, тридцатые и сороковые годы нашего столетия был огромный плотный мужчина с крупным, открытым, улыбающимся лицом, он улыбался не только глазами и ртом — все лицо его сияло улыбкой, и звали его Арам Джозеф, значит, по-армянски его звали Арам Овсепян.

Он был одним из лучших борцов в округе в состязаниях, которые проводились вечером по пятницам в Гражданском зале, нередко был гвоздем программы.

Если устраивались состязания, исход которых был предрешен, никто не смел предлагать Араму Джозефу проигрыш, ибо он побеждал буквально всегда. И это было весьма мудро: многие из покупавших билеты были армяне, хотя не все родом из Битлиса – битлисцы не любят бросать деньги на ветер. Это удел менее разумных армян из Вана, Муша, Сасуна, Тикранакерта и многих других армянских городов.

Всякий раз, когда Араму Джозефу предстояло выйти на ковер, он просил две-три дюжины контрамарок для родственников и друзей, и большинство из них были родом из Битлиса. Он был светловолосый, голубоглазый, идеал калифорнийца тех времен: сильный, быстрый, шумный, дружелюбный, великодушный, в уличных драках – непобедимый.

Однажды, когда я продавал на улице газеты, я увидел, как он выволок из маленького офиса, в котором работал, трех огромных американцев и бросил на мостовую. Едва один поднимался, Арам Джозеф наносил ему такой удар, что бедолага отлетал в сторону. Три громадины, крепкие парни, вроде наших злодеев-убийц из телевестернов. Арам Джозеф не обращал внимания ни на какие угрозы, пока дело не принимало серьезный оборот, тогда он сбивал противника с ног, отнимал пистолет или нож, но никогда не пускал в ход оружия против своего потенциального убийцы, хотя имел полное на это право. Зато у него собралась неплохая коллекция оружия.

Незадолго до смерти Арам Джозеф остановил меня на Ай-стрит во Фресно и сказал: «Вилли, хочу, чтобы ты знал: твой отец был моим учителем в Битлисе. Арменак Сароян – лучший человек из всех, кого я встречал в этом мире».

Никогда в жизни я не был так горд.

И никогда в жизни не веселился так, как в 1919 году, наблюдая, как Арам Джозеф гонит автомобиль “киссел-кар” задним ходом по Ван-Несс авеню со скоростью шестьдесят миль в час.

12



В Сан-Франциско на Девятой авеню, между Ирвинг-стрит и Джуда-стрит, жил над собственной мастерской краснодеревщик. Звали его на старинный манер — парон Гаприель, или господин Гаприель. Семья носила фамилию Дживарян; родом он был тоже из Битлиса. Он писал стихи.

Я спросил однажды, как это получилось, что он взялся за стихи, ведь он же краснодеревщик, отличный мастер своего дела.

Он сказал мне:

— Понимаете, господин Уильям, я стою за своим верстаком, голова не занята, только глаза да руки. Моя голова принимается работать сама по себе, в ней начинает вертеться всякое, а я принимаюсь слушать. И вдруг в меня начинают стучаться одно слово, два слова, одна строка, другая — и к концу дня, переполненный ими, я сажусь писать. Вот как это происходит.

Он был среднего роста, крепко сложен и сам напоминал большое дерево: широкоплечий,

с большими руками, сильными, красивой формы пальцами. Во взгляде — смесь бесконечной печали и озорного веселья.

Его дети — два сына и дочь — учились в колледже. Он был убежден, что его долг — поставить их на ноги, подготовить к жизни не хуже других. Он женился в Америке, жена его была тоже родом из Битлиса. Каждый день примерно в три часа она приносила ему на медном подносе чашечку кофе по-турецки, кусок лукума и стакан холодной воды.

Она улыбалась и говорила мягко:

— Сэр, минута отдыха.

Она ставила поднос на его верстак на свободное место и уходила к себе наверх, потому что знала, что у себя в мастерской он художник, мыслитель и не любит, чтобы пустой болтовней его отвлекали от работы с деревом и от сочинения стихов.

В те дни на нашей земле был голод, выражаясь в духе ветхозаветных авторов. Не хватало денег, бедняки стали еще беднее. И все-таки люди старались собираться всей семьей за трапезой, пусть самой неприхотливой и недорогой, и наша семья тоже; мы жили на втором этаже на Карл-стрит, 348, в восьми кварталах от мастерской парона Гаприеля Дживаряна. Мне было тогда двадцать два, и временами я слегка волновался, что у меня нет постоянной работы. И еще — что меня не печатают, ведь я писал не разгибаясь целыми днями, а часто и ночи напролет.

Был я без заработков, а потому без карманных денег, и шатался по улицам, и пил без конца газированную воду, и так — до вечера, когда у нас

дома к ужину подавался плов с луком, и мы с братом набрасывались на него не вполне изящно.

Я очень любил эту еду и до сих пор люблю. И потом долго еще, когда у меня уже появились деньги, я просил кого-нибудь наготовить мне плова побольше, а в ресторане обычно заказывал специальную порцию, чтобы взять с собой домой. В конце концов я сам научился его готовить, и теперь, как только захочется, где бы я ни был — дивное блюдо у меня на столе.

Во время своих прогулок я несколько раз в день проходил мимо дома краснодеревщика, а он, заметив меня, махал рукой, приглашая войти, и говорил:

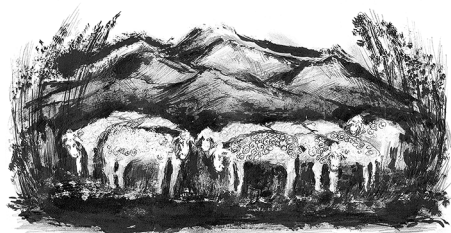
— Господин Уильям, как раз вы-то мне и нужны. Ведь вы писатель, хотя еще и не известный. Вы пишете по-английски, я тоже писатель — ну, может, и не совсем писатель, но, по крайней мере, пишу стихи. По-армянски. Вот что я написал прошлой ночью.

И он читал мне свое стихотворение, которое — я понимал — было умное, и человеческое, и невероятное не только для простого краснодеревщика, но и для кого угодно.

Я благодарил его и шел на берег, где собирал камешки, как слова, как монеты.

Четыре года спустя я наконец-то пробился: напечатали мою первую книжку, а сейчас, еще сорок лет спустя, я хочу поблагодарить Небеса, и Господа Бога, и Иисуса Христа, и Солнце, и всех, и вся. А стихи славного краснодеревщика так и не были опубликованы. Все под Богом ходим.

13



Не всякий человек, одаренный или более других одаренный глупостью, родом из Битлиса; хотя те, кто родом из Битлиса, убеждены, что все одаренные люди — родом из Битлиса, и особенно олухи; они упрямо стремятся отстоять превосходство битлисцев во всем, в том числе в шумной вульгарности; и в этом последнем неизменно преуспевают.

Единственное огорчение такого олуха, что в конце концов он оказывается лишь чуть-чуть менее умным, чем признанные мудрецы в городе — армяне, христиане, неверующие, англичане.

В моей ветви Сароянов есть разные люди, я, кажется, сочетаю и то и другое — я и умный и дурак, во всяком случае, немножко псих.

Чтобы меня верно поняли, добавлю, что слово «псих» по-армянски «хент», в нем нет оттенка презрения, чаще оно выражает восхищение, если не почтение.

Давид Сасунский, к примеру, был хентом, а если вы не знаете, чем он знаменит, скажу вам, что знаменит он всем.

Не все великие, удивительные или просто интересные армяне родом из Битлиса. Сасун, к примеру, находится в сорока милях к северозападу от Битлиса, и в этом горном селении тоже много замечательных людей.

С другой стороны, есть города, слава которых зиждется исключительно на коммерческом таланте жителей. Это бизнесмены, купцы, поставщики антиквариата, банкиры, ростовщики, люди, финансирующие строительство домов и торговцы коврами. И само собой разумеется, что такие люди, с одной стороны, жестоко эксплуатируют других, в том числе вдов и детей, а с другой — тратят огромные деньги на всякие пожертвования. Завещают состояния на строительство по всему миру армянских школ с бесплатным молоком для малышей.

У моего деда по материнской линии Минаса Сарояна был младший брат по имени Карапет; он отправился в Стамбул (в те времена город называли Константинополем), там спутался с молоденькими гречанками и нанес таких оскорблений офицерам турецкого флота, что ему грозил арест; его выставили из города и отправили в Америку, примерно в 1898 году он поселился во Фресно — то была первая ласточка рода Сароянов в Америке.

В 1918 году он пожертвовал крупную сумму армянским сиротам, в их число, верно, вошла куча его родственников, даже не подозревавших, что они тоже Сарояны. Когда в 1932 году к нему опять подступили собиратели этих пожертвований, он спросил: «Неужели эти сироты все еще не выросли?»

Он принадлежал к числу тех, с кем я был рад познакомиться. Лет десять назад — к тому времени Карапет давно уже умер, был похоронен и почти забыт — один из моих сородичей немного удивил меня тем, что, увидев меня спустя год или два после разлуки, вдруг сказал: «Ты вошел, и я готов был поклясться, что передо мной дядя Карапет».

А как же, ведь и у меня есть лоб и усы!

Однажды в Сан-Франциско, после того как опубликовали мои первые книги, я проходил мимо мастерской краснодеревщика, что на Девятой авеню, и он зазвал меня к себе. Он взял исписанный листок разлинованной бумаги и сказал:

— Это стихотворение я написал две недели назад. Ждал, пока ты появишься здесь, чтобы прочитать тебе. Каждая строка начинается с особой буквы. У нас в Армении часто так пишут. Иногда пользуются этим способом, когда посылают письма сородичам. Все наши поэты пишут стихи с зашифрованными в них призывами: «Объединяйтесь, армяне! Сражайтесь, армяне!» И так далее. А в моем стихотворении зашифровано твое имя. Надеюсь, тебе оно понравится.

И он прочитал его.

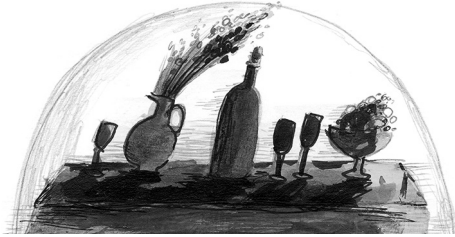
Я был тронут, потому что оно было не только обо мне, но и о моем отце Арменаке, моей матери Такуи, о Битлисе, о Фресно, о Сан-Франциско, об Америке.

Я поблагодарил его и вышел из мастерской.

Несколько лет спустя я узнал, что у него случилось нервное расстройство и его поместили в больницу. А потом я узнал, что он умер, но я рад был, что умер он дома, в квартире над своей мастерской.

Наверное, так заранее было задумано, чтобы он сошел с ума, а потом умер.

14



Люди, которые располагают к себе сразу и надолго, люди, о которых вы вспоминаете с любовью, — всегда те, кто обладает не столько чувством юмора, сколько чувством комического. Они умеют вас рассмешить и смешат нарочно, потому что им нравится, когда вы смеетесь. Им нравится смотреть, как вы веселитесь, забыли о своем возмущении всем и вся, ведь почти все мы вечно чем-то возмущаемся, сперва тем, что появились на свет, потом — что придется умереть. И конечно же, как раз те, кто склонен возмущаться больше всех, любят смеяться сами и умеют смешить других.

Комедианты глубоко убеждены, что человеческий опыт — не просто гадкая череда совершенно бессмысленных событий, но и невыносимая рутина, которую можно вынести, спасаясь шуткой. Метод комедиантов очень прост — они во всем видят предлог для шутки; и вправду, смешное поджидает вас буквально на каждом шагу, даже — и особенно — в том, что свято для нас, да и для комедиантов.

Но комедианты, о которых я веду речь, не профессиональные актеры, хотя я знавал и сейчас знаю довольно много профессионалов. Знакомство с ними тоже весьма полезно, но большинство из них — жутко скучные люди, на сцене они лицедействуют перед публикой, которая откликается на их игру и с готовностью выражает одобрение, необходимое им как воздух, а когда они не заняты игрой, так сказать в повседневности, они невыносимые эгоцентрики, начисто лишенные воображения. И невероятно, немыслимо напыщенные.

Они убеждены, что все знают их и боготворят; некоторые, приближаясь к восьмидесяти, а уж тем паче к девяноста годам, уверены, что Бог заставляет по утрам цветы распускаться, чтобы доставить им удовольствие, а бабочки кружат у них под носом исключительно с той же целью.

Эти профессиональные комедианты, говоря по правде, вовсе не принадлежат к роду человеческому: если они великие, то принадлежат к сонму ангелов, а если бездарны — а таких большинство — к числу обезьян.

Комедианты, которых я имею в виду, — комедианты в жизни, а не на сцене.

Эти комедианты развлекают своих друзей и своих домочадцев, причем развлекают непрестанно. В моей семье полно таких, но только мужчины способны быть великими комедиантами, хотя моя мать, Такуи из Битлиса, дочь Люси и Минаса Сароянов, жена Арменака, сына Рипсимы и Петроса Сароянов (настоящая его фамилия

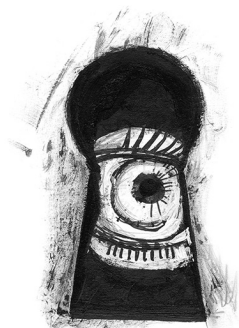
Ованесян, он взял фамилию Сароян у своего отчима), так вот, моя мать обладала высшим даром подражания, перевоплощения, передразнивания, ничего подобного мне не приходилось видеть; в каждом встречном она мгновенно подмечала все характерное: и в том, как он говорил, и как молчал, и в жестах, и во всей его сути.

У нас в семье очень любили смотреть ее представления, а она постоянно изображала кого-нибудь, потому что ей это нужно было как воздух — передать неповторимость каждого, кого она знала или видела на расстоянии, на сцене, в кино.

Она любила смех и веселье, и она всю жизнь глубоко ощущала печаль рода человеческого — в себе и в тех его представителях, которых она знала.

Читает, бывало, и то и дело отрывается от книги и приговаривает про себя: «Как грустно все это».

15



Так много моих ближайших родственников были психами, что я боюсь писать о них из страха, как бы их дети не сочли, что я выдаю семейную тайну.

Среди дальних родственников тоже есть психи, но я мало их знаю, и им удавалось не выносить свое сумасшествие на общее обозрение.

Мои родственники по отцовской линии помешались на горькой мысли, что рано или поздно им будет крышка или что надо яростно бороться с этой несправедливостью. Почти все у нас в семье — во всем и вся — ищут ошибки, начиная с Бога, который порой бывает весьма странным, а порой склонен к глупым розыгрышам, за которые, будь он человеком, его давно следовало убить.

После Бога эти безумные Сарояны, хенты, ссорятся со всем родом человеческим, особенно с той ее ветвью, которая по генетическим, национальным и культурным признакам зовется армянами.

А потом охотник за ошибками доходит и до своих близких, до конкретного рода, принадлежащего этой нации, — до рода Сароянов. А потом до конкретной семьи Сароянов, той, к которой этот печальный человек принадлежит, а затем — до отца своего, странного воплощения глупости и благородства, а потом до своей матери, бедной, невежественной, гордой женщины, а потом уж охотник за ошибками переходит на зверей полевых, птиц лесных и рыб морских.

Очень редко этот человек начинает искать ошибки в себе самом, но если такое случается, берегитесь — иного сказать не могу, — потому что в таком случае вы имеете дело с человеком, который не просто в депрессии, а в буйной депрессии. И хочет он переделать все и вся: Бога, род человеческий, армян, Сароянов и разные институты власти, как, например, Верховный суд США.

Именно в эту высокую инстанцию однажды написал младший брат моего отца Мигран; или сказал, что написал; или пошел к адвокату, может, к Мануку Хамлару, и попросил этого адвоката написать от его имени. Разве недостаточно человеку быть честным и откровенным, а надо еще потерять веру в себя, без которой и жить-то нельзя на свете?

Вот он и живет, говорит вещи, не имеющие явного смысла, но кажущиеся разумными ему, а может, его ближайшим родственникам, а может, даже Мануку Хамлару, доброй душе, который держал за правило выслушивать всех безумных, особенно членов семьи Сароянов, зная,

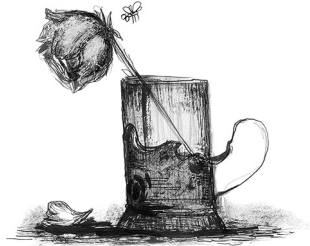
что они очень не любят обращаться к адвокатам-родственникам — а их в нашей семье было двое: один специализировался на громких криминальных делах, другой — на тихих производственных конфликтах, один — актер и победитель мира, другой — охотник за деньгами и зануда. Выслушав безумного Сарояна, Манук Хамлар обычно говорил нарочно по-английски: «Ваше дело передается на официальное рассмотрение. С вас доллар».

Он-то знал, что ни один больной Сароян не станет еще больше заболеть из-за какого-то доллара, и еще он знал, что тем самым Сароян поверит, что делу действительно дали ход и скоро весь мир узнает о его одиноких мучениях.

А потом, войдя в зал Итальянского банка, построенного в 1917 году, охотник за ошибками скажет его стенам: «В таких делах главное — благородство, и может ли тот, кто не помнит об этом, считать себя подлинным гуманистом?»

Адвокат у себя в кабинете, быть может, и подумает над текстом письма в Верховный суд, так, смеха ради, чтобы на следующий день за завтраком у Мэйфлауера позабавить им коллегу. «Уважаемый Верховный суд. Мой клиент, некий Мигран Сароян, поручил мне сообщить вам, что его ум, обычно твердый, как скала, в последнее время помягчал, и он чувствует, что вы преследуете его мистическим, тайным и гнусным образом. Остановитесь! Искренне ваш Пастабан Пастабанери, что значит Адвокат из адвокатов».

16



Случайные знакомства — порой самые дорогие сердцу, потому что в короткой дружбе столь четки отправные и конечные точки, что она подобна искусству, чему-то цельному, что нельзя сломать и испортить. А ведь это при продолжительной дружбе неизбежно: в человеке открываешь новые стороны, и то, что принимал за истинное проявление натуры, начинаешь воспринимать по-иному. Характер человека полностью пересматриваешь, и потому в отличие от стабильности, присущей искусству и подобным вещам, в отношениях между людьми — вечное движение, постоянные перемены и неожиданности, которые в лучшем случае (если обоим повезет) куда привлекательней и притягательней даже самого искусства, ибо они-то и составляют предмет искусства, они-то постоянно обогащают его и обновляют.

Легкое знакомство, если все идет хорошо, остается в памяти приятной музыкальной фразой,

тогда как дружба или дружба, переродившаяся во вражду, скажем так, подобна симфонии, бывает, ее невозможно воспринять, она распадается, звуки становятся невыносимо громкими, она сама становится невыносима.

Знакомства сопутствуют тебе повсюду, особенно в дороге.

В поезде, на пароходе, в автобусе, в самолете непременно встретишь кого-то, кто хочет поведать тебе свою историю, а в ответ услышать твою, и ты по ходу дела меняешься ролями со своим спутником. Если дуэт удался — в конце пути ты прощаешься, а потом вспоминаешь с удовлетворением эту встречу и того, кто неожиданно приобщился к твоей истории и к тебе.

Ну а если тебе повезло и знакомым твоим оказывается хорошенькая девушка или привлекательная женщина, ты можешь, конечно, рискнуть и сделать случайную встречу неслучайной, но тут уж неписанные правила этой игры обязывают каждую из сторон думать о другой стороне не иначе как о воплощении абсолютной чистоты, абсолютной возвышенности, видеть в ней лучшего представителя рода человеческого.

Случай сталкивает вас, совершенных незнакомцев, и вы поверяете друг другу сокровенное, поверяете как самой Истине, или Богу, или Памяти, или Себе, или своим Близким. Вы вовсе не стремитесь еще что-то услышать, подобрать еще материал, который дополнит уже имеющийся, но недостаточно осознанный и потому еще неиспользованный, вы сохраняете свое инкогнито.

Если называешь свое имя или начинаешь распространяться о своих близких — все рушится.

Вас объединяют теплота, сочувствие, благодарность не столько друг к другу, не столько каждого из вас к другому, сколько к неназванным людям, причастным к вашим жизням, глупым, несправедливым, бесчестным, злым, в общем, простым смертным.

И куда вы неотвратимо приближаетесь к месту своего назначения, вы говорите друг с другом, говорите вещи, которые ни за что не сказали бы другим, и вы уверены: все, что вы говорите, будет понято и не будет использовано во зло. А когда доберетесь до пункта своего назначения, то взглянете друг на друга, и улыбнетесь, и попроситесь, и пожелаете друг другу удачи, и ты пойдешь дальше своим путем, вот и все, и тебе вовсе не жаль, что все кончилось, ты доволен, что это есть.

У меня много таких знакомств, буквально сотни, однако чаще всего я вспоминаю, как возвращался из Нью-Йорка в Сан-Франциско в январе 1929 года, после того как шторм большого города кончился для меня поражением, после того как в свои двадцать я не начал карьеру писателя. Я долго-долго ехал в поезде, кажется, восемь дней, а мне казалось, что еще дольше. И внезапно, буквально за два часа до конца путешествия, одна девушка села рядом со мной в вагоне-ресторане, мы выпили кофе и разговорились. Она была замужем, ждала ребенка, ее муж, конторский служащий,

работал в Денвере, у них не было денег, она ехала к родителям в Сан-Франциско и собиралась там жить, пока муж не снимет для них однокомнатную квартирку с ванной и кухонькой, она была влюблена во все, и особенно в ребенка, в мужа и в жизнь. И в меня тоже, а я — в нее. И даже безумно, хотя и совершенно бескорыстно.

17



И конечно, у каждого всегда есть враги. Многие здравомыслящие люди говорят о своих врагах с негодованием, с бесконечной ненавистью, но бывает, и нередко, с восхищением, а порой даже с горячностью, особенно когда речь идет о бывших друзьях. Никакой другой враг так не раздражает, как тот, кто раньше был твоим другом или остается другом, а их гораздо больше, чем кажется.

Самый страшный враг тот, кто знает тебя и знает твои уязвимые места, а если он к тому же обладает способностями, которых у тебя нет, — твое дело плохо.

Адвокаты обладают способностями, которых нет у многих, хотя бывали, да и сейчас встречаются адвокаты, которые пасуют перед людьми, не обладающими юридическими знаниями, но умеющими держать даже адвоката в страхе и даже над ним брать верх.

В Нью-Йорке был адвокат, походивший больше на завсегдатая кафе, чем на делового человека, он

консультировал по правовым вопросам людей, делавших огромные деньги на шоу-бизнесе, как называли они свою «деятельность». Им нужно было знать, как помешать правительству отбирать у них весь годовой доход и тратить его на военные игры в Азии.

И адвокат этот, из года в год блистая своим искусством, не позволял правительству их грабить и стал среди них весьма популярной фигурой.

Он знал всех, знал и меня, но я не вошел в число очастливленных им, торопливых, вечно занятых друзей, которые, здороваясь с ним, демонстрировали свою преданность ему, а может, свою преданность его искусству спасать их от правительства.

Я мог лишь скрывать презрение к нему и его клиентам, проворным, хвастливым животным, разгоряченным успехом в шоу-бизнесе, возбужденным любовью и аплодисментами простаков, как они сами называли зрителей, к этим мрачным мошенникам, которых даже самое явное презрение других лишь немного забавляло, и только.

Адвокат хотел, чтобы я вел себя чуть-чуть менее враждебно, потому что враждебность была его бизнесом.

Среди его клиентов и дружков были люди, с которыми волей-неволей я вынужден был общаться, и когда я сживал с ними в баре, нередко входил он, его обступали и начинали обсуждать с ним дела и развлечения.

И все обращались к адвокату с любовью, а я молчал.

И ему это не нравилось.

К тому же я не занимался тем, чем занимались все остальные.

Я не говорил ему: «Послушайте, по-моему, инспектор по налогам каждый год отхватывает себе слишком большой кусок от моего дохода. Я, конечно, не мог не слышать, сидя за этим столом, что вы сейчас говорили Джо Гофману насчет того, как вы спасли его состояние в прошлом году. Не могли бы вы мне тоже помочь?»

В основном я ничего такого не говорил, потому что мне не нужны мошеннические сделки, я их не заключал, и я не зарабатывал — да и не мог заработать — таких денег, чтобы стоило заключать их. Ну, сколько бы удалось отстоять нашему милейшему адвокату от налогового инспектора, если мой годовой доход кругом-бегом составлял около десяти тысяч долларов? А то и того меньше? О, с его знанием дела и связями я начал бы зарабатывать в десять — двадцать раз больше, верно ведь? Но даже эта перспектива меня ничуть не прельщала. Если бы мне захотелось разбогатеть, я бы лучше связался с фальшивомонетчиками.

Так и продолжалось: он шел своей дорогой, я — своей, а его друзья — своей, и с некоторыми из них волей-неволей меня порой сталкивала судьба.

В конце концов однажды одна из его приятельниц подала на меня иск на крупную сумму денег, а в адвокаты был приглашен тот ловкий парень.

Вот как это произошло: мы сидели в роскошном баре и потягивали напитки; кто-то спросил у меня,

где я остановился в Нью-Йорке в этот приезд, я назвал отель, и часом позже, через две минуты после того, как я вошел в номер, в дверь постучали, появился молодой человек и вручил мне повестку.

Я изучил ее и позвонил адвокату.

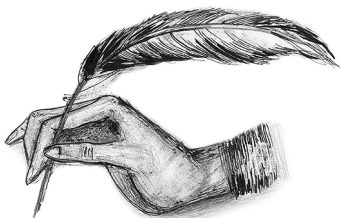
— Это же дико! — сказал я. — Если уж кому и возбуждать дело, так это мне, но у меня нет привычки таскаться по судам.

Адвокат ответил:

— Я уже обо всем прочитал в газетах. Ты проиграешь.

И после четырех лет мучительной тяжбы я проиграл. А что до адвоката, так он умер. Но как он забавлялся, как он забавлялся, будто был на одном из шоу!

18



И еще я встречал уйму писателей, книги которых почти не публиковали, десяток-другой, которых публиковали изредка, и одного-другого, которых публиковали охотно. Очень любопытный народ эти писатели.

В начале тридцатых я познакомился с одним финном, он писал для дешевых журналов. Я часто встречался с ним в покерном клубе, что на Турецкой улице в Сан-Франциско, но писатели ведь не настоящие игроки в покер, хотя они и не лишены азарта.

Игроку в покер не полагается, кстати, быть азартным, рисковать деньгами, он должен ждать, как говорится, психа и тут же обнаруживать яростную смелость, ставить на кон все, изображать наконец полное самозабвение, блефовать, как называет это писатель, который сам в результате попадаетея и проигрывает.

Я даже не помню имени того финна. Может, Ларсен? Так вот, он был стройным парнем, тихим, немного задумчивым, каким часто бывают финны,

он был не без юмора, например, вдруг делал дикий, истерический жест, будто собирается сдаться психу, тот уже воображает, что у него крупный выигрыш, а финн с улыбочкой выбрасывает карты.

В те же тридцатые много было писателей, которые любили попить и погорланить, посмеяться и поговорить, попеть и потанцевать, особенно у Иззи на Пасифик-стрит в Сан-Франциско. Что это были за годы!

Как молоды мы были, какие дивные то были времена! Что за девушки, что за чудные девушки приезжали в большой город из деревень и маленьких городков — Орегона и Вашингтона, Монтаны и Айдахо; и как мы кружились с ними, но не брали замуж, потому что кому же это нужно, зачем, для чего портить веселье?!

Одним из писателей, завсегдаев Иззи в те дни, был двадцатилетний парень — примерно мой ровесник; как и меня, его еще не печатали, хотя меня должны были вот-вот напечатать, мою книжку уже приняли, как говорится. С ним всегда приходила стройная красавица, подобная цветку, родом из какой-то деревеньки в штате Юта, может, мормонка. Все в зале заметили ее. Каждый понимал, какой она редкий цветок и как глупо с ее стороны ходить с напыщенным, чопорным, бледным, невзрачным, бескровным парнем, который не умел ни прыгать, ни кричать, ни петь, ни выпивать дюжину бокалов шампанского, а чувствовать себя при этом прекрасно... с этой англосаксонской подделкой под мужчину.

Девушка-цветок и подделка под мужчину занимали всех, в том числе и меня; мы пытались понять, почему она не бросает этого чудака.

Придя к Иззи со своей девушкой во второй раз, он обратился ко мне:

– Можно вас на минутку? Я знаю, мы с Дельфиной вас заинтересовали. Пожалуйста, не рассказывайте мою историю никому. Я встретил ее с месяц назад на автобусной остановке. Она была чем-то убита, лица на ней не было, сказала, что осталась без крыши над головой. Я взял ее к себе. Собирался отправить домой, как только позволят деньги. Тем временем у меня разыгрался кашель, и ко мне пришел доктор. На беду, она была дома, и доктор, решив, что мы муж и жена, сказал ей, что у меня рак легких и что мне осталось жить максимум месяцев шесть. Я пытался заставить ее уехать домой, но она и слышать об этом не хочет. Твердит, что будет ухаживать за мной. Не говорите никому, я вижу – вы нравитесь Дельфине и она вам нравится, но теперь вы все знаете. О, проклятье!

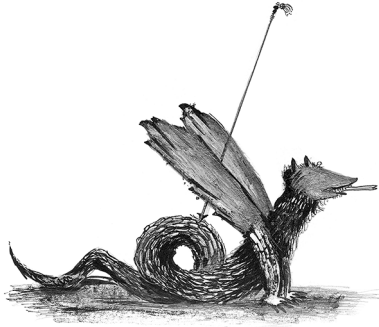
Разумеется, от такого не отмахнешься, с тех пор я относился к писателю и Дельфине с величайшим теплом и предупредительностью. Но внезапно меня поразило открытие: откуда это все знают то, о чем он рассказал мне по секрету?

Шесть месяцев спустя писатель и Дельфина исчезли. Год спустя их видели вместе в другом баре, а тридцать лет спустя я встретил их в одном из второсортных баров Сан-Франциско, и мы сразу узнали друг друга. Он собирался было

поприветствовать меня, и я — его и ее, но потом решил: эх, да Бог с ними, эта ложь — лучшее из его сочинений, пусть наслаждается ею.

А кто знает, что он на самом деле говорил девушке, чтобы удержать возле себя? Это и есть сочинительство, творчество? Когда грязный трусишка растлевают прелестный робкий дикий цветок?!

19



Я держу за правило — писать о людях в моих рассказах как можно теплее, во всяком случае так, чтобы они не казались чудовищами, даже если в действительности они чудовища. Иных из прототипов моих героев я ненавидел и готов был убить, в точности как Святой Георгий убил дракона.

Но таких, в общем, не очень много.

И уж совсем немного тех, кто сперва казался чудовищем, а потом оказался нормальным и даже приятным.

Я ненавидел, к примеру, Д. Д. Дэйвиса, директора школы Эмерсона, и считал его чудовищем и мошенником: смотреть не мог, как он вышагивает по коридорам, какой у него мерзкий вид. Этим пугалом учителя вечно страшали меня: «Веди себя прилично, а то отправлю к господину Дэйвису».

И всякий раз в самом деле отправляли меня к нему, а он стегал кожаным ремнем.

Как же мне было не ненавидеть его?

Но со временем это прошло. У него было одиннадцать детей. Он со своей женой не потерял ни одного. В армянских семьях всегда «теряются в дороге» четверо или пятеро: умирают еще в детском возрасте. Он был просто огромный глупый малый, и мне теперь незачем ненавидеть Д.Д. Дэйвиса, умершего в глубокой старости — восьмидесяти восьми лет. Теперь у его мальчиков и девочек уже наверняка дети, внуки, правнуки — целая куча.

Пусть земля ему будет пухом, только ему не следовало бы идти в школу — ни в какую школу.

То-то смеху было, когда, к изумлению преподавателей, он заходил вдруг среди урока в класс, приседал, вскакивал и выбрасывал вперед правую ногу, заботясь только о том, чтобы не видно было нижнего белья.

Уолтер Хьюстон делал то же самое, разговаривая с болтунами, я прямо со смеху покатывался — будто давным-давно не видел, как это делал старик Д.Д. Дэйвис, правда, тот действовал совершенно невинно, а Уолтер Хьюстон таким образом выражал как бы свой комментарий, что ли.

Однажды я спросил его, и он ответил:

— О, этому я выучился еще мальчишкой, тогда давали знаменитый водевиль «Розалинда и Гарри». Пока Гарри болтал с Розалиндой, он проделывал свои номера, а она была, естественно, совершенно великолепна — и Гарри даже не подозревал, что Розалинде может показаться диким, что он во время беседы с ней вертит ногой.

Когда в январе 1939 года я вернулся в Сан-Франциско после четырехмесячного пребывания

в Нью-Йорке, единственный из живших там писателей, о котором я слыхивал, был Чарльз Колдуэлл Доуби. Я разыскал его по телефонной книжке, послал ему письмо, и он пригласил меня к себе в офис на Монтгомери-стрит, в дом, который, как я узнал много лет спустя, прозвали Обезьяний блок.

У Доуби была уютная нора, в ней стоял пустой стол, а на нем огромная пишущая машинка.

Сам он смахивал на клерка: похоже, ему было сорок четыре, мне тогда было всего двадцать.

«И это писатель?» — подумал я.

А он спросил:

— Чем могу быть полезен?

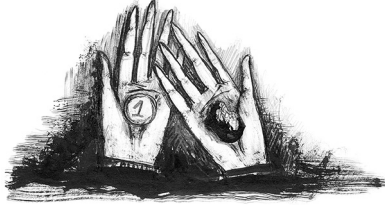
Конечно, все это мне не понравилось, но я решил быть по крайней мере вежливым:

— Видите ли, я писатель, и мне хотелось бы спросить другого писателя: «Что толку, если писатель — писатель?» Я зарабатываю себе на жизнь совсем другим, но мне вовсе это не нравится. Вот и все.

Он смотрел на меня мгновение, а потом очень дружелюбно со мной поговорил.

Вот уже лет сорок, а то и больше, как он умер. Он умер в расцвете лет, не дождавшись славы, и он ответил на мое письмо и дружелюбно со мной говорил. Поэтому я чту память Чарльза Колдуэлла Доуби.

20



Лучше всего, вероятно, сказать собеседнику: к счастью, я неправильно вас понял. Не верю, что можно сказать: к счастью, я вас правильно понял. Короче — лучше всего счастливое недоразумение. К некоторым, порой даже подлецам, нельзя не расположиться, и вовсе не из-за их порочности или склонности к пороку, не из-за легкости, с которой они расстаются с добродетелью и становятся воплощением порока. Дело тут в другом.

Одним из моих друзей во Фресно был темноволосый парнишка по имени Рам, сокращенно от Растом, хотя никто, кроме самых близких в семье, не подозревал, что его зовут Растом; а имя это прославлено в персидской лирической поэзии. Он был крепышом, сыном крупных, сильных родителей-армян с добрым сердцем.

Однажды на переменке мы подрались; он не понял, что я нарочно бью только в плечо, потому что не могу оскорблять человека — бить в лицо. Но этот идиот, которого я мог бы уничтожить,

поступил так, как поступают все идиоты на всем белом свете во всех случаях жизни. Он принял это как должное, не ответил мне тем же, а продолжал меня бить по лицу.

Я был оскорблен и взбешен, не говоря уж о боли, и готов был залепить ему в нос, хоть это было не по мне, но тут учитель мистер Кэгни застучал нас, побагровел от гнева и бросился разнимать нас, выговаривая мне, а вовсе не Раму, что нечего заводить драки с кем бы то ни было по какому бы то ни было поводу.

Рам, этот идиот, ликовал, считал, что он одержал победу, самодовольно ухмылялся и показывал всем своим видом, что ему не к чему повиноваться учительнице: ну что же это за мужчина — преподает в четвертом классе школы Эмерсона, где, кроме него, учителя — сплошь женщины?!

Один мой закадычный друг подошел ко мне после драки и сказал:

— Господи, ну чего ты не врежешь ему как следует в зубы? Что ты толкаешь его в плечи? У тебя уж челюсть распухла. Ты что, спятил, что ли?

Конечно, я не знал, как объяснить своему другу, не армянину, а американцу, почти американцу — на самом деле сыну ирландца, я не знал, как объяснить ему, что я не могу ударить человека в лицо.

Да, забавно мир устроен.

А потом место действия перенеслось со школьного двора школы Эмерсона на Барел-хауз во Фресно на Третью улицу в Сан-Франциско. Нам с Рамом по двадцати одному или по двадцать два,

Фресно — в далеком, почти забытом прошлом, и даже наша драчка почти забыта.

Он увидал меня, когда я играл в карты на деньги. Партия кончилась, я бросил играть и выпил с ним в баре пива. Мы начали встречаться в этом баре, а иногда в баре «Кентукки» в конце нашей улицы, а иногда у Брика — через дорогу, а потом вместе слонялись по Сан-Франциско.

Я, конечно, всегда знал, что Рам — идиот, потому что это факт, но он мне все-таки нравился, я считал — раз он не знает, что он идиот, не подозревает даже о такой вероятности, он ни в чем не виноват.

Но мы сблизились, и я узнал его получше; обнаружилось, что он к тому же подлый малый: каждой своей девчонке он врал, что он женат, — в течение года их бывало у него по полдюжине, а потом сбывал другим подонкам или в дома терпимости. И все-таки я не бросил его, не избегал. Мы оставались старыми друзьями из Фресно, слонялись по Тендерлоину в Сан-Франциско, пока времена не изменились; меня забрали в армию, а его не забрали, и много лет спустя я услышал, что он умер, вот и все.

21



Часто я все не так понимаю. Забываю уроки, которые следовало бы извлекать из моего довольно мучительного опыта, и спустя годы прямо столбенею, вспоминая о каком-нибудь случае, — даже не верится, что такое было со мной, и смеюсь над собой, прямо диву даюсь.

Боже, почему я был таким дураком? Неужели все такие, или ты оказал мне особую честь? Если да, то почему? Потому что у меня к этому природные задатки? Или ради назидания? Если ради назидания, чему ты хочешь меня научить?

Но кто может говорить с Богом, вернее, кто не может? Вопрос в том, кто получает ответ. По крайней мере, ответ не от самого себя.

Вот я стою и смеюсь над собой, потому что не могу припомнить человека, с которым был бы хоть сколько-нибудь счастлив повстречаться. Безусловно, я встречался за свою жизнь по крайней мере с миллионом людей — ведь мне уже шестьдесят четвертый год, — но почему же я все не могу никого припомнить?

Чего я жду? Уж не боюсь ли я, что в один прекрасный день окажется, что и писать-то больше не о ком?! Писать об Артуре Миллере, одном из самых популярных постановщиков пьес, что идут на Бродвее? Я повстречался с ним, когда слава его уже меркла, мы пошли в ресторан “Клуб 21”, с нами был его приятель Джордж Джин Натан, влиятельный театральный критик. Говорили о нью-йоркских и лондонских театрах, а я рассказывал ему о житейском театре — какой найдешь в каждой семье, особенно в американской.

Но если тебе не хочется писать об этом веселом господине, почему бы тебе не написать о Бенете Серфе, издателе твоей первой книги? Скажи хоть несколько добрых слов о человеке, который никогда не сидел на месте, вечно куда-то перебирался, нажил состояние — целых восемь миллионов долларов, вот так-то. Часть состояния он заработал на сборниках каламбуров, которые относил другим издателям. Каждая из этих книг была бестселлером и принесла огромные деньги как издателю, так и самому Бенету Серфу, который умел делать деньги и собирать каламбуры.

Мы бродили с ним как-то по Нью-Йорку в 1935 году, перед моей поездкой в Европу и после возвращения. Он острил без умолку, и в конце концов я не выдержал:

— Никто из ваших друзей не говорил вам, что если вы еще раз сострите, он убьет вас?

На что Бенет Серф ответил:

— Все так говорили — и друзья, и враги.

Только ответил он каламбуром, который я, слава богу, забыл.

Так почему бы не написать о Бенете Серфе?

Да не хочется.

Ну что ж, напишу о ком-нибудь не столь знаменитом или о ком-нибудь, кто не сколотил себе состояние в восемь миллионов.

Хорошо, напишу о парне, который стоял у входа в пустой магазин на Маркет-стрит в Сан-Франциско в 1929 году и продавал книгу о загадках вселенной.

У него был удивительно энергичный рот, я таких никогда не видел: рот его все время двигался, а сам он не просто говорил, он играл. Мой брат Генри стоял около меня и слушал его монолог, продолжавшийся около четырех минут, а потом сказал:

— Давай вернемся, еще раз посмотрим на него.

Он не сказал «послушаем» его, он сказал «посмотрим» на него.

Во второй раз он понравился нам еще больше, но мы не купили книгу о загадках вселенной, хотя он уже спустил цену с доллара до двадцати пяти центов.

22



Я не был знаком со многими первоклассными писателями даже после того, как меня начали печатать, но немногих я знал. Я больше общался с художниками, чем с писателями.

В художниках есть что-то такое, что мне лично трудно понять. Они вечно пытаются объяснить себя, и им никогда это не удается. Начинают читать проповедь о том, что изображено на картине, а у нее ведь свой язык, и она не нуждается в пояснении.

Я жил тогда на Карл-стрит, 348, в Сан-Франциско, мне было двадцать четыре, я уже писал книги, но они не издавались. Однажды вечером мы гуляли с братом Генри, наевшись до отвала плова.

— В этом доме живет женщина, она работает в «Вестерн юнион». Она говорит, ее сын — великий художник. Давай заглянем, — предложил он.

Так мы и сделали. Она была южанкой и говорила, почти как все южане во многих южных романах, кино, пьесах, но не во всех.

Она будто давала понять, что знает — она производит впечатление своей манерой говорить, соблюдая традиции Юга, и ждала молчаливого подтверждения того факта, что мы с Генри это оценили.

Не знаю, как Генри, но мне очень нравилось слушать ее и потому смотреть на нее.

Она была не сухопарая чопорная матрона, а крупная, полная, горячая и каждые десять — пятнадцать секунд заливалась веселым смехом.

— Ну что ж, — сказала она, — вы фанатики, как и мой мальчик, Клайберн, он еще дитя, ему только двадцать четыре, а сколько вам? Тоже двадцать четыре, прелестно, вы должны дождаться его, он скоро будет дома, уверена, вы пришли не со мной познакомиться и послушать мою болтовню, ведь я болтаю без умолку, садитесь поудобнее, я сейчас принесу что-нибудь перекусить, я уж постараюсь, уверена, вы будете истыми джентльменами и придете в восторг от моего угощения, по крайней мере сделаете вид.

Она исчезла на кухне, а через минуту оттуда вышел юнец. Я спросил:

— Вы — Клайберн?

— Нет, — сказал парень, — Клайберну двадцать четыре, а мне восемнадцать, я — Фарагет, мама прогнала меня с кухни.

После того как мы представились друг другу, мы попросили Фарагета рассказать о его брате Клайберне. И Фарагет сказал:

— Знаете, может, я ошибаюсь, но мне кажется, он гений, потому что он посмотрит на кого-то,

потом еще раз посмотрит, а потом начнет рисовать карандашом и красками, и вдруг вы увидите этого самого человека на холсте, но в его лице будет что-то особое, чего никто, кроме Клайберна, не замечал.

Мне еще больше захотелось познакомиться с Клайберном и посмотреть его работы, которые, как уверяла нас мать, он нам непременно покажет, но сама она ни за что показывать не станет — это было бы святотатством.

Вправе ли были мать и брат Клайберна восхищаться его талантом, даже если он и впрямь был таким гением?!

Наконец, на большом металлическом подносе появилось угощение: апельсиновый чай высшего сорта с лимоном, имбирные пряники в форме маленьких человечков, сэндвичи с огурцом на очень мягком белом хлебе без корки.

Я начал наступление и съел куда больше, чем мне полагалось, но на подносе была такая уйма вкусных вещей, а Генри только чуть-чуть всего попробовал, а Фарагет только пил чай, и потому, если специально не следить, нельзя было заметить, сколько я умял. Но я-то считал. Четыре пряничных человечка и восемь сэндвичей с огурцом.

Наконец в гостиную вошел сам Клайберн, спокойный, тощий, чрезвычайно выразительный молодой человек. Сразу после того, как нас представили, он мягко сказал:

— Не согласитесь позировать мне?

И вот в течение месяца по два раза в неделю я позировал Клайберну Тэтерсолу, пока он не сдался:

— Клянусь, каждый день вы совсем другой.

Потом я узнал, что у него был нервный срыв. А когда пришло время призыва, он отказался от военной службы по политическим соображениям и его посадили в тюрьму.

Но не у всех, кого я встречал, был нервный срыв, и не все отказывались служить в армии по политическим соображениям.

23



Места, где живешь, обладают таинственной неповторимостью, о какой не подозреваешь, пока ты там живешь, ибо все твоё время и внимание поглощены только одним — самой жизнью. Но проходят годы, и, думая о былом, вспоминаешь родные места и неожиданно обнаруживаешь, что в них было нечто поразительное.

Считалось, что к югу и востоку от школы Эмерсона во Фресно поселение армян, хотя там обосновались и сирийцы, ассирийцы, словенцы, португальцы, ирландцы, сербы, а на краю армянского квартала стоял отель басков с очень просторным двором. Баски-пастухи отправлялись в долину Сан-Хоакин, чтобы за четыре-пять лет подзаработать денег, вернуться домой с капиталцем, купить ферму, жениться и обзавестись семьей. Жениться во Фресно они не хотели. И в отель «Итерия», тот, что у вокзала Санта-Фе, постоянно приезжали баски-пастухи. Они останавливались в городе на недельку-другую,

снимали комнату с пансионом, болтали, много ели, распевали баскские песни и пользовались услугами женщин-профессионалок.

В нашей школе не было басков, но в конце концов и они появились, ведь рано или поздно всему приходит свой черед. Многим баскам не удавалось разбогатеть, и они не возвращались домой, беднели, нищали и оседали в Калифорнии. Потом некоторые все же богатели, а кое-кто даже очень богател. Они женились на девушках своей национальности, но были и такие — правда, считанные единицы, — которые женились на девушках других национальностей.

Нельзя было не заметить, что среди жителей армянского квартала больше представителей других малых народов. Можно вообразить, что моя симпатия к ним, особенно к ирландцам и португальцам, объясняется тем, что они — малые народы, но вряд ли причина эта.

Я любил всех просто потому, что они составляли частицу тайны тех мест, потому что я видел их каждый день в течение нескольких лет и потому что в них было кое-что, что забавляло и привлекало меня.

Я был знаком с людьми других национальностей, жившими во Фресно, — с итальянцами и греками, немцами, голландцами, шведами, китайцами, японцами, индийцами, мексиканцами, индейцами и кое с кем из негров — очевидно, не с юга, а откуда-нибудь из Сан-Франциско, Портленда, Сиэтла, — с неграми, говорившими без южного акцента.

Не у всех сыновья приходили по утрам в редакцию «Фресно ивнинг геральд», брали там свежие номера и продавали на улицах города, многие приходили в «Геральд» просто за компанию, чтобы «нанести визит», иногда кое-кто пытался тоже издавать газеты, но очень скоро им это надоедало.

Подлинными продавцами газет, истинными «крикунами», рекламирующими заголовки, были армяне и итальянцы. Они занимались этим серьезно, потому что их денег ждали в семье, чтобы прокормиться и отложить на покупку собственного дома.

Кое-кто еще регулярно продавал газеты, но их было немного — греки, немцы, американцы.

Прошли годы. И армянские кварталы потеряли свою неповторимость, осталась лишь память о них в моей душе, и внезапно я постиг их тайну — там жили добровольные изгнанники, они тосковали по местам, которые, они знали, им не суждено увидеть вновь.

24



Люди, которых ненавидишь, вот что в них непонятно: за что их ненавидишь?

Ответ всегда один: потому что они были грубы, они причиняли тебе боль, оскорбляли твои чувства, они пытались заставить тебя ощутить твою никчемность, они во что бы то ни стало хотели разрушить в тебе то, что ты воспитывал в себе долгие годы, они хотели повергнуть тебя в отчаяние.

Не дразни меня больше, старина, не стой у меня на пути, не обзывай меня, не угрожай мне, вот он я, я иду вперед и не позволю тебе меня остановить, видишь — вот он я, даже если ты попытаешься остановить меня, я не сойду с дороги.

Все началось давно, в самом начале истории моей жизни — на улицах Фресно. Началось с драк с мальчишками — продавцами газет, просто уличными мальчишками. Меня учили дома и в

школе, что надо быть вежливым, но очень скоро я понял, что если будешь вежлив, тебя сочтут слабаком и кто-нибудь станет к тебе привязываться. И это так меня раздражало и унижало, что когда задира возвращался, чтобы снова ко мне начать приставать, я говорил:

— Ну что ж, начинай.

И стоял наготове, сжав кулаки, ждал, когда он бросится в бой, а он не бросался, он пугался, он хотел выглядеть сильным, но не хотел, чтобы ему было больно, и он смывался.

И вот скоро я снова стал вежливым, но уже понимал, какая борьба происходит в противнике, и был достаточно уверен в себе, чтобы использовать ее в своих интересах. Я уж не позволял никому унижить меня так, чтобы краска заливала мне лицо, я просто говорил:

— Ты вроде хочешь помериться силами, что ж, я готов.

Год или два спустя уже никого — ни мальчишек, ни взрослых — не вводило в заблуждение мое стремление к вежливости. Мне не приходилось изображать хулигана, которому жаль времени на такую ерунду, как приветливость и доброжелательность.

Конечно, я тут кое-что приврал, и в свою пользу, потому что и по сей день я предпочитаю промолчать и обойти стороной то, что кажется мне бессмысленным, бесполезным. Не испытывай ненависти — просто не замечай. Не убий — живи и давай жить другим.

25



В четырех кварталах от моей четырехкомнатной квартиры на улице Тейбу, в доме номер четыре на углу улицы Шатодэн, есть маленькое квадратное помещение, сапожная мастерская, и стоит она рядом с отелем, кажется, под названием «Балтик». Как утверждает один парень, который отказался от службы в армии по политическим соображениям и за это проявление храбрости провел кое-какое время в тюрьме где-то в Штатах, в 1944 году отель был еще и борделем; он там остановился со своей молодой женой на медовый месяц, и сразу же им бросилось в глаза, что по коридорам без конца снуют мужчины, особенно от десяти утра до двух часов дня, особенно на первом и втором этажах (в Штатах они считаются соответственно вторым и третьим).

Так вот, в этой маленькой сапожной мастерской с высоким потолком и с крутой винтообразной металлической лестницей, которая вела в подвал

точно такой же формы и такого же размера, что и мастерская, жила огромная коричневая сова.

Птица свободно летала по помещению и, хотя порой дверь на улицу оставалась открытой, никогда не вылетала.

Я не собираюсь рассказывать, почему да отчего, просто я, правда, в общих чертах, знаю эту историю о сове и о том, как она обосновалась в мастерской.

Лет восемь назад однажды утром милая дама, жившая неподалеку от мастерской, принесла туда двух беспомощных, еле живых совят, которых она привезла из деревни.

Она спросила у сапожника, разбирается ли он в этих птицах.

Нет, ответил он. Он посоветовал ей отогреть их и покормить. А она в свою очередь попросила его оставить одного птенца у себя.

Он согласился.

Так и прожила у него сова все восемь лет. Так и привязалась к нему сова, а он — к ней.

Его жена умерла, сын и дочь выросли и обзавелись своими домами.

Сапожник — на год или два моложе меня, ему — шестьдесят один или шестьдесят два. Он армянин, уроженец Гултика, города, что у подножия гор, где стоит Битлис. Когда он был совсем мальчишкой, его родители переехали в Антакью (так теперь называется Антиохия, где останавливался Святой Павел во время своих миссионерских путешествий).

Этот человек по имени Ованес Шогикян ростом был на дюйм или два меньше пяти футов, но сложения крепкого. В молодости он был чемпионом

по штанге и борьбе, у него сохранилось множество фотографий, подтверждающих это.

Короче говоря, он не просто сапожник, хотя он в самом деле шьет ботинки – целиком шьет сам и за сорок лет ни разу не надел ботинок, сделанных чужими руками.

Во-первых, он ими торгует и ему нравится работать на самого себя – а ведь в наши дни никто не делает себе обувь на заказ, чтобы она была по ноге, была точь-в-точь по ноге, как влитая. Во-вторых, у него маленькая и широкая ступня, и раньше, когда он еще не умел сам шить обувь, ему ни разу не удавалось подобрать подходящую пару. В готовой обуви всегда что-нибудь не так, и носить ее трудно. А когда он в башмаках, сшитых собственными руками, ему удобно, ноги как дома, и в своей мастерской он как дома. К нему частенько заглядывают любители природы, чтобы поболтать о сове и о зеленой птице, что живет у него уже тридцать лет.

– Когти у нее не в порядке, цепляться не может, – говорит он о зеленой птице. – Ничего, лет тридцать еще проживет, иногда они и до восьмидесяти живут.

Где он вычитал это, не знаю, не копался же он в справочниках.

Без посторонней помощи и инструкций он давным-давно установил, что сове для нормального пищеварения необходимо немного меха или перьев. И все эти годы он кормит сову сырой

говядиной, нарезанной тонкими ломтиками, сердцем цыпленка, мышами — он покупает их у соседей, те звонят ему по телефону, как только обнаружат в мышеловке жертву.

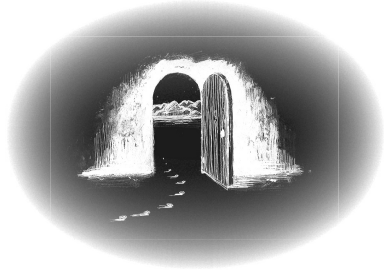
И конечно же, сапожник любит сову, а сова любит его.

Теперь сова живет у него по доброй воле. Между ними установился нежный ритуал, и в него входит фраза, которую он произносит по-армянски:

— Ну, а теперь поцелуемся.

И сова прикасается клювиком к его верхней губе.

26



Когда мне был двадцать один год, я попал на работу в фирму «Кладбище “Кипарисовая лужайка”», Сан-Франциско», контора находилась на восьмом этаже здания, что тогда стояло и по сей день стоит на юго-восточном углу Маркет-стрит и Седьмой улицы, здания под названием «Каменотес», в одном из своих рассказов я нарек его другим, по-моему, более удачным именем – «Гранит», так вот, когда я попал работать в эту фирму, я обнаружил, что ею управляют члены одной семьи. Самые важные места занимали Джонсоны, они же выполняли самую легкую работу, у каждого Джонсона была чудная кличка. К примеру, шефа звали Благородный Джонсон, что вполне ему подходило, и я без всякой натуги молниеносно привык к этому имени.

Ему было чуть за тридцать, но не о Благородном Джонсоне пойдет речь. Я расскажу о вице-президенте, начавшем свою деловую карьеру с самых

низов еще в 1889 году. А тогда шел 1929 год — уже сорок лет минуло.

Он носил все черное. Он был тощий, у него были длинные пальцы, длинный нос, и он любил беседовать на разные темы со своими подчиненными, особенно с новичками, и вот когда я пришел наниматься, он сказал:

— Ну что ж, хотите у нас работать... а я тут нанимаю людей и увольняю. Так что приступим к делу.

Изучив мои данные — имя, возраст, адрес, семейное положение, национальность, вероисповедание, образование, состояние здоровья, он наконец задал главный вопрос:

— Готовы ли посвятить свою жизнь похоронному делу, как я сорок лет назад?

На что я мгновенно ответил:

— Да, сэр, в точности как вы, сэр.

Конечно, я был принят на работу. Она мне особенно не докучала, и каждый день я видел, как Благородный Джонсон приходил на часок и уходил. И каждый день я видел, как Восхитительный владелец похоронного бюро, так я называл вице-президента, приходил в свой кабинет и оставался там намного дольше всех прочих.

И каждый день я слышал, как он бурчит себе под нос песенку, которую Джимми Дюран сделал потом такой знаменитой: «Инка динка ду, э динка динк адинко ду. Это значит — я тебя люблю».

Как мог такой тощий, высохший и напыщенный человек наслаждаться комическим, диким духом этой песенки?

В нем, наверное, еще что-то есть, думал я, только он прячет это где-то на самом дне. Так и оказалось.

Он сочинял объявления для кладбища, правда, Благородный Джонсон браковал одно за другим и не разрешал писать их на указателях и вывесках. Самое лучшее:

«КЛАДБИЩЕ
“КИПАРИСОВАЯ ЛУЖАЙКА”.
ПРЕКРАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗА ДЕНЬГИ ЗАКАЗЧИКА».

Он сочинял примерно раз в неделю одно хорошее объявление. Я обычно запоминал их, но ничто не вечно под луной, и, конечно, старина тоже был не вечен — его похоронили на том же кладбище, правда, за его преданную службу похоронили бесплатно.

Мне нравился этот старый чопорный господин. Однако я не посвятил похоронному делу всю свою жизнь (или все-таки посвятил?).

Когда спустя месяц я взял расчет, он ужасно огорчился: ведь он на меня надеялся как на сына родного.

27



Дни моей юности в Сан-Франциско можно назвать богемными — среди моих знакомых сверстников было очень много таких, что посвятили себя искусству, надеялись завоевать имя в роли писателей, поэтов, драматургов, художников, композиторов, скульпторов или просто пройдох, и жили они не очень-то роскошно.

Каждый над чем-нибудь трудился. Около двух десятков человек регулярно виделись друг с другом, специально не сговариваясь. Среди нас, встречавшихся около года, была и молодая женщина. Она поразила нас своим обаянием, устоять перед ней не было сил, но мы ничего о ней не знали. Очень скоро она приоткрыла нам кое-что о себе, после чего те, кто хотел познакомиться с ней еще ближе, отступили — кто в изумлении, кто в гневе, а кто и с симпатией и преклонением.

Ее имя говорило если не о значительности, то о солидности ее социального положения, быть может, была она даже из богатой семьи.

Она работала в Музее военной славы, занималась там рекламой или чем-то в этом роде. Еще она писала для всех газет, но чаще всего для «Кол», дневной газеты, которая давно захирела, наверное, потому, что ее редактор Скуп Глисон был верен романтической традиции редакторов великих американских газет. Он отличался мягкостью, мог быстрее других раздобыть материал, без промедления писал репортаж, что давало ему некоторое преимущество перед конкурирующими газетами, тогда, в начале тридцатых, их было четыре; правда, одна наполовину подчинялась «Икземинер», основной газете Херста, выходившей в Сан-Франциско. Эта юная особа, со своей стороны, постоянно норовила вылезти с какой-нибудь историей, которая принесла бы ей успех у Скупа Глисона, если не у доктора Уолтера Хайла, ее босса, руководителя Музея военной славы.

Однажды она написала милую, хорошую вещицу с настроением, как сама она выразилась, о стариках итальянцах, вышедших в отставку и убивающих время за игрой в домино в маленьком кафе и так бурно сводящих счета, не сведенные еще в Неаполе, что то и дело их приходится разнимать, чтобы они не задушили друг друга, но после получасовой прогулки они возвращаются в кафе и садятся за новую партию в домино.

— Честное слово, — сказала она нам, — я и не знала, что так бывает. В моей семье ничего подобного не было. Если уж кто-нибудь из нас задумал убить, так

не остановишь. У меня есть младший брат. Даже не знаю, где он теперь, убежал из дому лет десять назад после стычки с отцом. Тогда ему было всего шестнадцать. А мой отец до сих пор не может о нем слышать.

В этой девушке все было удивительно, притягательно, красиво — и фигура, и цвет лица. Она так смотрела на вас, будто все ее существо рвалось к вам без промедления, что, естественно, заставляло каждого мужчину, видевшего ее, сказать себе: «Внимание!» А потом спрашивать: «Ба, да кто же это?»

На самом же деле она мечтала только о том, чтобы проявить себя в искусстве, и писательство, она считала, — область, где она может преуспеть. Сначала рассказы в духе Кэтрин Мэнсфилд, потом романы в духе Виллы Катер¹.

Одно время я частенько сживал с ней, мы пили пиво и болтали, и, конечно же, она все больше и больше раскрывалась; а была она чудаковата, к примеру, ее преследовали странные страхи.

Она была уверена, что очень скоро среди ночи к ней в спальню ворвется негр, от ужаса ее бросит в дрожь, а когда чуть позже она проснется и через минуту-другую вспомнит, что с ней произошло, — она снова ужаснется, побежит к дверям и запрет их, а потом найдет записку: «О мадам, вы были

¹ Катер Вилла (1876–1947) — американская романистка, ее перу принадлежит несколько десятков романов; пользовалась большой популярностью.

так восхитительны, что я больше ничего не взял». А через несколько недель она обнаружит, что беременна. И не будет знать, как быть. Ведь она католичка и делать аборт не имеет права. И, конечно же, она не сможет признаться во всем отцу или матери. Ей придется сделать выбор: или покончить с собой, или родить.

У нее было два-три подобных страха, и когда она рассказывала о них, что-то ужасное искажало черты красивого лица, и сама мысль заняться с ней любовью уже казалась дикой.

28



В 1959 году я оказался в Париже; я до этого съехал из дома на взморье по адресу 24848, Малибу-Роуд – цифра на объявлении о продаже дома сразу заворожила меня; потом съехал из номера 1015 (конечно, это похуже, чем 24848, но, теряя в красоте цифры, само помещение имело преимущество благодаря размерам, высоте потолка, холлу и кладовке), так вот, я как раз съехал из номера 1015 отеля «Роэлтон» по 44 Вест 44-й улицы в Нью-Йорке (тоже ведь изумительно звучит – 44 Вест 44) и отправился на итальянском судне в Венецию, остановясь сначала в Лиссабоне, чтобы побродить по городу, где все напоминало мне прогулки с детьми за два года до этого, потом в Сицилии – в ее самом западном городке, названия которого не помню; Мессина – самый восточный город, я никогда не забуду Мессину; Палермо, ах да, Палермо – вот как зовется самый западный город Сицилии, потом в Неаполе, и везде я гулял, потом – в Патрасе, который неподалеку от Миссолонги, где,

полагают, скончался Байрон, сражаясь на стороне греков во время одной из их обреченных войн с Турцией, но кто же его знает, этого Байрона, его имя, его гибель окружены легендами, а потом я приплыл в Венецию, сошел с корабля, покатался на гондоле, они там снуют повсюду, доехал поездом до Белграда и здесь, в Белграде, купил себе небольшую машину — но к чему я все это говорю, почему никак не доберусь до цели?

Просто кто бы ты ни был, в том-то и суть, что достигнуть цели — самое трудное в путешествии, и если ты собираешься или по крайней мере надеешься ее достигнуть — надо отправиться в путь, что я и делаю. Я заплатил тысячу четыреста долларов наличными за автомобиль с немецким мотором и итальянским корпусом и сел за руль; я ехал, ехал, потом остановился в Канне и начал там играть в карты, и очень скоро мои денежки попели. Я разорился — двенадцать тысяч долларов я хлопнул, да еще был должен пятьдесят тысяч долларов вашингтонскому инспектору по налогам. Что же делать?

Я поехал в Париж и обнаружил, что уже апрель. Апрель 1959 года. (Значит, это было ровно тринадцать лет назад.)

Дело было плохо, я вел жизнь миллионера, ел икру и пил водку, жил в отеле «Георг V», играл в Клубе авиаторов, транжирил, проигрывал.

В конце концов я начал работать, чтобы вернуть потерянное. А «начать работать» для меня означает сесть за письменный стол и начать писать.

И я добился своего — выпутался из передряги, закончил работу, на которую согласился ради денег, заработал маленько и начал возвращать инспектору.

На оставшиеся деньги я жил. Снял большой дом, чтобы перетащить туда детей на лето, но перед тем, как они приехали ко мне, в конце июня, если не ошибаюсь, я стал завсегдатаем Клуба авиаторов на Елисейских полях в доме номер 101, где играли в баккара и шмен де фер¹, ну и перезнакомился со всеми. Небольшое достижение. Скорее, вовсе никакое не достижение. В игорном доме, хочешь не хочешь, знакомишься с его завсегдатаями. И замечаешь, когда появляются новички и когда они исчезают, как правило, в полном смятении и отчаянии.

Среди завсегдатаев был Джинго из Марокко и Сергиус из Нигера, мать его была турчанка (так он нам сказал), а отец — крупный политический деятель. Сергиус частенько совершал автомобильные путешествия до Амстердама, и говорили, что он провозит туда контрабандой бриллианты. Но у него вроде бы никогда не было денег для азартной игры или для того, что мне казалось азартной игрой, хотя он садился с игроками в шмен де фер, ждал, когда наступит его черед, ставил два или четыре доллара, рассчитывая сделать четыре хода кряду и выиграть соответственно четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два доллара. Однажды я прикрикнул на него:

¹ Азартные карточные игры.

— Иди снова, выиграешь.

Он пошел и выиграл на свои два доллара — шестьдесят четыре, но рисковать дальше побоялся, трусишка.

Мне нравились Сергиус и его товарищ Джинго, потому что, завидя меня, они расплывались в улыбке, такой жуликоватой и шельмовской, что я не мог не рассмеяться. И смех у них был ужасно заразительный. Вы наверняка такого не слыхивали, в нем звучали идеальная невинность и полнейшая безответственность.

29



Знать про знаменитостей, не сводя с ними знакомство, — вот чем обычно довольствуются незнаменитые люди, а если кто знакомится со знаменитостью или сверхзнаменитостью, это для него просто потрясение: будто неземное, легендарное, какое-то высшее существо вдруг приняло форму простого смертного. И выясняется, что у бедняги плохие зубы, странный запах, и весь он добыча немощей, и весь поражен безумием, состоит из неистовых, обезумевших клеток, сбившихся в обезумевшее целое, которые составляют его, постыдно неправдоподобного и совершенно неприемлемого.

Десятилетний парнишка, никогда не видевший своего отца, когда тот вдруг объявляется, испытывает примерно то же, что и человек, познакомившийся со знаменитостью. Так это мой отец? Взгляни на него, бога ради. Он — ничто, он — никто, у него волосатые пальцы, неправильный нос, от него несет табаком, он смущенный какой-то. И это он?

Тот самый человек, о котором я так много слышал, так много думал, мой отец, большая часть меня самого? Так это мой отец? Кто бы мог подумать?

Во Фресно однажды в День изюминки¹ королем парада был Том Микс. Потом Монт Блю. Потом Берт Лителл. То были самые знаменитые люди, которых я видел воочию в те дни, когда мне не было еще двенадцати, и за исключением того, что они ехали в колеснице вместе с королевой Дня изюминки, местной девочкой, выбранной самыми почетными семьями города, Том Микс, Монт Блю и Берт Лителл были такие же, как простые смертные. Но я видел их в немом кино. Том Микс был самый красивый, жаль, тогда мы не знали, что он грек (я уже потом это слышал). Мы бы могли говорить друг дружке:

— Видишь Тома Микса в колеснице? Он грек.

Увы, мы бы заблуждались. В общем-то, он оказался не греком.

Берт Лителл был просто хороший актер — сначала в немом кино, потом в звуковом и на сцене.

Но в кино и на сцене он никогда не вызывал в незнаменитых людях чувства, которые я пытался описать: как это живое чудо, знаменитость и вдруг вроде нас, простых смертных, ходит по земле?

А случается, от некоторых знакомств становится просто дурно. Вот о чем я толкую.

Становится просто дурно из-за славы новых знакомцев, а все потому, что от славы или от того, что тех привело к славе, тем самым долго было дурно. А ты чувствуешь это, и тебе это передается.

¹ Праздник сбора винограда.

Представьте, вы вдруг знакомитесь с Наполеоном — но не с одним из тех миллионов милых людей, которые в силу странного каприза настаивают, что они — Наполеоны. Эти тоже вызывают в вас ощущение дурноты, но, наверное, по другим причинам. Хотя причины не такие уж и разные.

Ибо оригинал в общем-то так же безумен, как копия.

А все потому, что каждый решает стать кем-то, а ведь не нам выбирать, кем стать, и вот ты беспомощен, ты в ловушке, ты немощен, ты безумен.

Или представьте себе, что вы встречаете где-то в 1944-м Адольфа Гитлера; это кого угодно доведет до обморока.

Подобные люди — фантастические, абсурдные варианты человеческих существ.

И вот однажды, еще до того, как научились читать наскальные надписи, которые предвещали, что очень большая война между Германией, Россией и Францией, очевидно, не ограничится «линией Мажино», а втянет весь мир, особенно Соединенные Штаты, меня вместе с полсотней других писателей, актеров, антрепренеров пригласили в «Гайд-парк» на ленч с господином Франклином Делано Рузвельтом, и я увидел прославленного господина.

Но при виде его я не упал в обморок, а просто пытался понять, почему он хочет казаться милым, шутивным, душевным — мало ему того, что он великий, или считает, что он великий, или непременно станет великим после того, как «выиграет» войну?!

30



Черный Джек был маленький человечек, который написал книжицу про то, как половину своей сорокавосемилетней жизни провел якобы в американских трудовых лагерях, куда попал за грабежи. В суде ему предъявили эту книжку, хотя он никогда никого не грабил, может, два-три раза и стянул, что плохо лежало, но никому не причинял вреда, стянул, чтобы несколько деньков прокормиться. Но его схватили, и, попав в машину почтенного американского судопроизводства, стоящего на страже американского общества, он понял на собственной шкуре, что такое отбывать срок по-американски.

В конце концов он написал письмо Фремонту Олдеру, издателю «Сан-Франциско Кол», газеты, принадлежащей Уильяму Рэндольфу Херсту. Старина Фремонт Олдер любил встревать в судебные разбирательства и обвинять юридическую и карательную систему в коррупции

и бесчеловечности. Именно так. Он печатал из номера в номер на первой полосе очерки о том, как тяжело несчастному человеку в Америке — в данном случае Черному Джеку. Он опубликовал несколько писем Черного Джека и рядом — несколько его фотографий, на которых Джек был запечатлен раньше и теперь. И наконец, Фремонд Олдер убедил Черного Джека, когда его выпустили на свободу, что он должен вести работу среди бедняков. Разъяснить, как вредно нарушать закон.

И конечно же, Черный Джек согласился, хотя нетрудно догадаться, что он предпочел бы просто оказаться на свободе.

Но когда издатель крупной газеты бросает ради тебя вызов всему миру, добивается твоего освобождения, ты пожизненно попадаешь в зависимость к нему и к его идеям о том, чего стоишь ты вместе со своей жизнью.

Я рад, что повстречал Черного Джека, он делился со мной, рассказывал мне о себе, о днях, проведенных в тюрьме, о своем благодетеле, о судьях, полицейских, законе, обществе.

Он сказал:

— Маленький человек чаще становится вором, чем человек среднего роста, потому что маленькому не нравится быть маленьким.

Конечно, для меня это было откровение — но он сам был маленьким, ростом с двенадцатилетнего парнишку, и говорил искренне, исходя из личного опыта.

И еще он добавил:

— Конечно, я был виновен — ведь я воровал, но я никогда не был преступником. Хотите знать правду, вот она: во всех тюрьмах, где мне пришлось сидеть, я видел лишь полдюжины преступников — остальные просто дураки, точно такие, как те, что на свободе, точно такие, только они не на свободе, а в тюрьме.

Это было интересно. Мне тоже всегда казалось, что человек в тюрьме немногим отличается от остальных. Попасться и очутиться в тюрьме может любой, это вопрос, так сказать, техники. Но тем не менее, как только тебя схватили, ты выходишь из большой игры и попадаешь в малую. Ты становишься преступником, пусть только формально.

Мне было двадцать два, когда я познакомился с Черным Джеком, и в эти годы я уже понимал, что людям в тюрьмах не очень-то сладко. Может, на вид все чудно, а если покопаешься, то несколько не чудно.

Правда, мне тогда еще не приходило в голову, что это относится не только к заключенным, но ко всем. Черный Джек растолковал мне простую истину.

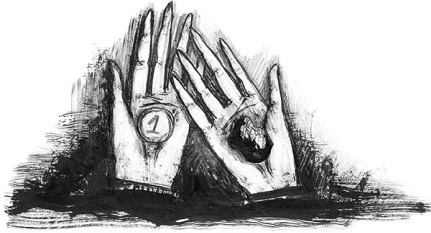
А теперь я убежден, что цивилизация, придумавшая тюрьму, куда прячут человека, какой бы он ни был, — дикая цивилизация, хотя дикари и не играют в эти игры. Они убивают на войне или во гневе, но не крадут у человека душу, не убивают ее разлукой с друзьями, такими же сукиными детьми, как он сам.

Я провел с Черным Джеком всего несколько часов — с полдвенадцатого до полчетвертого: мы

сидели за ленчем в клубе «Ротари». Джек рассказал мне обо всем, и его печальный рассказ слегка скрасил мне этот ленч в обществе напыщенных болванов в огромном зале.

Спокойный маленький человечек с чувством собственного достоинства, а душа его была разбита. И все же я был поражен, когда спустя меньше года прочитал в «Кол», что Черный Джек покончил с собой — бросился в залив Сан-Франциско.

31



Папулиус издавал «Макарони ревью». Его офис находился на втором этаже здания, похожего на мышеловку, на Говард-стрит, где босяки вели жизнь философов; оно и по сей день там — между Четвертой и Пятой улицами Сан-Франциско.

Окна его кабинета выходили на улицу; в нем стоял письменный стол, на столе были телефоны и несколько экземпляров «Макарони ревью», а у стола три проволочные корзинки, набитые вырезками из газет, письмами, брошюрами и прочей белибердой, которую авторы присылали ему по почте или притаскивали собственноручно.

К примеру, в одной корзинке на самом верху лежала религиозная брошюрка. Она называлась «Чаете ли вы бессмертия?» (Думаю, Папулиус изучал эту проблему с величайшим вниманием.)

Он был ладно сбитый человек и говорил с сильным греческим акцентом. (Много лет спустя, когда я услышал Спируса Скураса, я тотчас же

вспомнил Папулиуса. Вы, естественно, можете спросить, а кто такой этот Спирус Скурас?)

Шел 1932-й. Папулиусу было примерно тридцать восемь, а мне — двадцать четыре. Он поместил коротенькое объявление в специальном разделе «Икземинера», который я изучал каждое утро, причем бесплатно, на витрине около здания, где помещался концерн Херста, на углу Третьей улицы и Маркет-стрит.

В объявлении говорилось: «Требуется писатель. Папулиус. 848, Говард». Судя по тому, как оно было набрано, Папулиус заплатил за него самую мизерную цену, но я, разумеется, не обращал на подобные пустяки внимания, меня поразило содержание: ему нужен писатель!

А это-то как раз меня больше всего и устраивало, а то, что там ни слова не было о зарплате, не имело ни малейшего значения. Просто интересно, он будет платить по часам, по дням, по неделям, по месяцам, по годам или сдельно? А если писатель принесет прекрасный материал, оценит ли его этот человек, этот издатель, этот Папулиус, и не прибавит ли гонорара? В те дни даже чуть-чуть надбавки не помешало бы, хоть потому, что и просто чуть-чуть, даже без всяких надбавок, было пределом мечтаний молодого человека.

«Папулиус, — думал я, торопясь уже в 9 часов 30 минут к дому номер 848 по Говард-стрит тем июньским утром. — Где я слышал это имя? Кажется, это один из самых великих и самых благородных греческих философов, не потомок ли того великого

грека человек, что живет на Говард-стрит в доме номер 848?»

Кто бы он ни был, скоро я его увижу.

Я поднялся на второй этаж и увидел табличку «Макарони ревью». Тихонько постучал, подождал, потом дернул за ручку. Она повернулась, и я вошел.

Маленькая, очень суетливая женщина с безумными глазами и крепкими мускулами взглянула на меня, а мужчина с жалкой седой бороденкой, как на портретах Ван Дейка, стоя через стол от женщины, но не потому, что он играл с ней в пинг-понг, а потому, что копался в каких-то раскрытых книгах и длинных кондуитах, этот жалкий мужичонка не только взглянул в мою сторону, но и удостоил меня фразой:

— К Папулиусу?

— Да, по объявлению.

— Он будет через час, зайдите через час.

— Место еще есть?

— О да, да, да, — ответил мужчина, — еще есть.

— В объявлении говорилось, что нужен писатель.

— Да, да, совершенно верно. Поговорите об этом с господином Папулиусом.

Я пришел через час. Папулиус принял меня с распростертыми объятиями и сказал, что ему предстоит нанести кое-какие визиты и он возьмет меня с собой. Он поехал на макаронную фабрику на Норт-Бич. Там он говорил без умолку, но за рекламу на целую полосу в следующем номере «Макарони ревью» выудил у владельца не сто, не пятьдесят и даже не сорок долларов, а тридцать!

Папулиус хотел, чтобы я сам научился делать эти визиты и уговаривать фабрикантов помещать рекламу в нашем журнале, шесть номеров которого он показал мне еще в машине.

Журнал состоял из сорока довольно плотных больших страниц, и на большинстве были рекламы.

– Только в Сан-Франциско восемьдесят четыре фабрики по производству спагетти и макарон, – сказал мне Папулиус не без удовольствия. – И «Макарони ревью» – единственный журнал, в котором они могут печатать свою рекламу. Когда я прихожу к новичку и открываю журнал, у него прямо глаза на лоб лезут. Ну а что я ему говорю, ты сам слышал.

– Да, вы сказали, что непременно напишете о его компании.

– Вот именно, а ведь ты писатель. На этих листках я записал его имя и кое-какие данные. Напиши о нем. Слов сто достаточно. Просто скажи, что у него прекрасная чистая фабрика на Колумбус-авеню, дом 142, что он выпускает свою макаронную продукцию уже восемь лет, уже восемь поколений его рода занимаются этим делом. Ну что-нибудь такое.

– Хорошо, сэр, – ответил я, потому что он еще не подошел к денежному вопросу, и я подумал, что если он увидит, какой я понятливый и как стараюсь, он станет платить больше. Но он вообще не заговорил о плате, и я уже был готов на любую.

Мы проехали на его стареньком «оверленде» еще четыре квартала: Папулиус решил повторить свою операцию, но на этот раз фабрикант сказал:

— Я не нуждаюсь в рекламе, мои дела и так идут прекрасно.

— Престиж! Престиж! — кричал Папулиус. — Вот почему нужна реклама!

Но тот махнул рукой:

— Не нужна, не нужна, — и ушел.

— Я сам виноват, — заметил Папулиус. — Надо было не так. Учись на моих ошибках. Мне надо было поговорить о его матери. Запомни, с некоторыми сильными мира сего надо говорить об их мамах, тогда они начинают тебя слушать. А он просто не захотел меня слушать.

Заглянув еще в дюжину мест и вырвав еще два заказа на рекламу, мы вернулись к нему в офис. Он тут же стал кому-то названивать:

— Алло, это вы, дантист? Ко мне приедут гости из Сакраменто к ужину. Мне нужно снять камень с зубов, прямо сейчас. Не теряя времени, приду через пять минут. — Он бросил трубку. — Ты знаком с господином и госпожой Густенхауз? — спросил меня Папулиус.

А я подумал: «Официально нет, но что в этом плохого?» Папулиус уже кричал:

— Эй, вы, двое, идите сюда!

Они не вошли, они вбежали.

— Я хочу познакомить вас с моим писателем, вот с этим парнишкой. Он собирается писать и выколачивать заказы. Скажи господину и госпоже Густенхауз, как тебя зовут.

Я быстро назвал свое имя. Маленький возбужденный муж и маленькая болезненная жена кивнули в ответ. А Папулиус закричал:

— А теперь за работу!

И они побежали рысцой обратно в свой крохотный закуток в приемной.

— Что они делают? — спросил я.

— Кто их знает, — ответил Папулиус. — Понятия не имею. Я пустил их к себе, они живут у меня бесплатно, открывают дверь, отвечают на звонки, когда меня нет, кажется, разводят собак. Да они и сами похожи на собак. Так вот, располагайся, кабинет, стол, пишущая машинка к твоим услугам. Напиши что-нибудь для «Ревью». Завтра прочту.

И он вышел — снять камень с зубов до ужина.

После его ухода господина Густенхауза с женой рядом не оказалось, и я сотворил нечто, что счел литературным эссе о пище, зерне, муке, воде, соли, открытии новых способов применения муки, об Италии и макаронном чуде — все это втиснулось в какую-то тысячу слов.

Я перечитывал свой труд, когда в контору вошли супруги Густенхауз. Вытащили из проволочных корзин листки бумаги и принялись верещать.

Выяснилось, что и вправду они разводили собак, только очень редких пород, а не обычных.

Они показали мне снимки своих трех подопечных, и собаки удивительно походили на супругов Густенхауз.

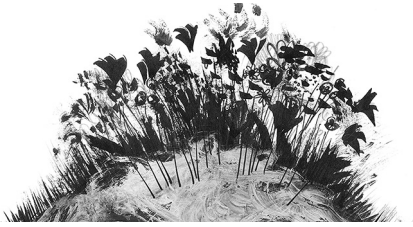
— Можно мы читаем, что вы сочинили? — спросил муж. Они читали, стоя рядом. — Конечно же, вы писатель, но ему нужно совсем другое.

Прочитав на следующий день мое эссе, Папулиус объявил:

— Великолепно, станешь гвоздем номера, а сейчас пойдём на дело.

Через три дня я перестал туда ходить, перестал и все тут, он не платил ни копейки, а я расхотел зарабатывать на жизнь, выманивая деньги на рекламу макарон у чувствительных господ, которые не в силах устоять перед соблазном поместить в прекрасном журнале рекламу на целую полосу и всего-то за двадцать пять долларов и пятьдесят центов.

32



Папулиус не был единственным экземпляром подобного сорта. Были и другие, их объединяла уверенность, что в годы национального кризиса они смогут найти способ вывернуться и дать ход самому безнадежному делу.

То были одиночки разных покровов, одиночки, даже если они оказывались в подчинении и должны были соблюдать правила «большой политики». Даже когда им вручали письменную инструкцию о том, что и как им следует делать, они умудрялись все переиначивать на свой лад.

В 1922 году Волинский с «Постэл телеграф» с центром во Фресно был всего лишь разъездным аварийным монтером из Денвера, он орудовал по всему побережью Тихого океана согласно инструкциям, которые ежедневно передавали по телеграфу из Денвера в Нью-Йорк.

Ему было тридцать четыре, а мне четырнадцать, мы были почти одного роста — около пяти футов семи дюймов; правда, я был кожа да кости, а он — здоровяк.

Он обожал вкалывать на полную катушку, слушая, как кто-то шутит и смеется, или сам шутил и слушал, как кто-то смеется.

Он был самый быстрый телеграфист в мире — так считали другие телеграфисты Фресно, и поразительно умел отстукивать азбукой Морзе важные телеграммы из трудных слов и чисел, одновременно громко и оживленно болтая.

Удивительная способность сосредоточиваться на двух вещах сразу!

И хотя его прислали со стороны проверять, как обстоят дела во Фресно, и уже потому его могли бы недолюбливать, его любили все — начиная с управляющего Дж. Д. Томлинсона и кончая самым новеньким рассыльным, то есть мною.

Он исполнял обязанности телеграфиста, отправляя и получая телеграммы, только когда их накапливалось слишком много: не хотел, чтобы упал престиж фирмы; главное ведь — скорость, с какой телеграммы принимались, передавались и доставлялись адресату; к примеру, на телеграмму из Фресно в Нью-Йорк уходило меньше двадцати минут.

Тогда междугородные переговоры по телефону не были в моде. Они стоили гораздо дороже, чем телеграммы, да и слышно было совсем плохо.

В настоящие обязанности Волинского входило изучить положение дел в нашем районе, и особое внимание ему следовало обратить на масштабы действующей телеграфной связи и на ее потенциальные возможности, которые все росли.

Во Фресно телеграфный бизнес находился в прямой зависимости от урожая винограда, его сбора и отправки, но главная доля прибыли доставалась «Вестерн юнион».

Предпочитали посылать телеграмму через «Постэл телеграф» за ту же цену, что и «Вестерн юнион»: «Постэл телеграф», не имея отношения к государственной почте, будучи частной компанией, располагал единственным преимуществом — более быстро и четко работал, чем «Вестерн юнион».

А миссия Волинского и состояла в том, чтобы довести это до сознания жителей Фресно и научить других своему искусству.

Например, он наставлял меня:

— Когда тебе приносят телеграмму, заверь клиента, что она мигом будет доставлена, а то и того быстрее.

Выждав, когда я кончу смеяться, он продолжал:

— Не уставай повторять им, что «Постэл» — независимая телеграфная компания, а не филиал государственной почты. У нас точно такие же цены, как и у «Вестерн юнион», но наше обслуживание лучше, быстрее и четче. А потом докажи это на деле.

«Постэл телеграф» очень часто имел возможность проявить свое преимущество в соревновании с «Вестерн юнион».

Д. Х. Багдасарян, к примеру, послал однажды две телеграммы одному и тому же человеку в Бостон — одну с «Постэл телеграф», а другую с «Вестерн юнион». Этот опыт предложил ему Волинский, он пришел к нему в складскую контору на Тюлар-

стрик, у Первой авеню. Рассыльный из «Постэл телеграф» явился через восемь минут, а из «Вестерн юнион» — через двенадцать. Ответ через «Постэл» поступил спустя сорок восемь минут, а через «Вестерн юнион» — спустя два часа.

— Ну что ж, — сказал Д. Х. Багдасарян, — я с вами, господин Волинский.

Как звали Волинского? Неважно. Он сумел найти золотую жилу, как я написал в одном из своих рассказов, давным-давно, когда уже этот бизнес его доконал.

33



Шел 1960 год, мне было всего пятьдесят два; я наблюдал из окон своей квартиры на пятом этаже дома 74 по улице Тейбу за происходящим на улицах Парижа. В те годы мне ничего не стоило взлетать вверх по лестничным ступенькам, вот я и носился, и, по-моему, это шло мне на пользу.

По утрам я сбегал вниз за свежим номером «Пари геральд», как в то время называли эту газету, и за хрустящей парижской булкой — она бывает разных сортов, больше всего парижане любили (и сейчас любят) «палочку». Та, что больше по ширине и длине, называется «парижанкой», а поменьше — «плетенкой».

Я покупал хрустящую булку, горячую, прямо, как говорится, с пылу с жару, чаще всего «палочку», и мчался к себе наверх. Вода в чайнике закипала очень быстро, я заваривал чай, садился за карточный, под красным сукном, столик, тот же самый, за которым я и сейчас сижу, когда печатаю, пил чай со свежим хлебом, греческим сыром и черными маслинами, а потом убирал все со стола и принимался писать.

Я всегда твердо знаю, что, когда я в Париже, мое главное дело — писать.

Никаких попыток жениться. Никаких стараний найти богатую привлекательную женщину, бунтарку в постели, и жениться на ней. Никаких попыток залучить в постель подряд всех молоденьких девчонок и женщин в соку; время от времени, правда, у меня бывали посетительницы, но ненадолго. Никаких привязанностей, расспросов, требований. Я пишу это, потому что когда думают о Париже, особенно когда американец думает о Париже, в его воображении сразу же всплывает Фоли Бержер, сочные алжирские дамы, способные на такое, что американкам и не снилось, о-ля-ля, девчонки, девчонки, девчонки, как поется в одной песенке начала века.

Все думают, что Париж — бесконечное бурное веселье и развлечения; нет, город не таков, просто дельцы, наживающиеся на туризме, хотят его таким представить.

С первого дня моей жизни в Париже я занимался только творчеством, потому что когда человеку стукнет пятьдесят, до него доходит, что теперь ему не сорок и, уж конечно, не тридцать. И единственное утешение — мысль, что ты верен себе, у тебя есть дело, так как же, продолжать его или бросить?

Меня-то подобные мысли не одолевали, просто я хотел работать, да к тому же была веская причина, почему я хотел работать: мне нужны были деньги.

Мне нужны были деньги, а я не умел зарабатывать их еще как-нибудь. Мое дело было — писать, и потому каждое утро после вкусного завтрака, состоявшего из чая, хлеба и сыра, я без проволочек

принимался за работу, а выполнив дневную норму, которую сам себе определил, опять сбегал вниз по лестнице и отправлялся гулять.

Каждый писатель поймет меня.

Так здорово сделать свой дневной урок и наслаждаться тем, что можно просто выйти на улицу и просто беспечно гулять.

Я заглядываю в окна, чаще — в витрины книжных магазинов; в Париже в них продаются географические карты, сувениры и всякая всячина, в общем-то, строго говоря, это вовсе не книжные магазины. Но второразрядные магазины — на самом деле книжные, очень скоро я обнаружил их месторасположение и каждый день ходил туда.

Один из лучших — в конце улицы Ламартин, сразу же как пересечешь Пуассоньер, где Ламартин переходит в Монтолон. В этом магазине прекрасный выбор старых книг на английском, и мне нравилось порыться в них, выбрать две-три, каждая ценою в один франк, то есть около двадцати центов, хотя некоторые очень хорошие книжки стоили почему-то всего пятьдесят сантимов, или десять центов.

Владельцу было года семьдесят четыре, и в течение трех лет у нас с ним были самые дружеские отношения, хотя никогда мы ни о чем не говорили, только здоровались и прощались по-французски.

Но однажды он подошел ко мне и произнес по-армянски: «Мне сказали, что вы — Сароян. Это правда?»

Мы подружились, по-другому, по-новому, и тем самым кое-что потеряли, и кто знает — может, более ценное?

34



Запоминать встречи с людьми в хронологическом порядке можно с помощью примет времени и места, но так делают или пытаются делать только тогда, когда стараются их запомнить для определенной цели — для записей, или для архивных сведений, или для мемуаров, или для автобиографии, или для истории мира, в котором живешь, или истории рода человеческого, с которой доводится сталкиваться и которую доводится изучать, и хочется придать ей четкий порядок, ведь он несвойствен природе, даже противополоказан.

Память человеческая идет своим путем и останавливается на чем-то произвольно, независимо от того, где была предыдущая остановка и где будет следующая.

Утром ты вспоминаешь, как когда-то давным-давно ты ехал в фургоне и слышал, как возница пощелкивал вожжами, чтобы лошадь чувствовала руку хозяина, а вечером ты вспоминаешь, как на

прошлой неделе увидел незнакомца, которого — тебе сразу показалось — видел на улице двадцать — тридцать лет назад, и тогда, как сейчас, тотчас подумал: «Мой отец», но не слишком пристально взгляделся в него ни в первый раз, ни во второй и не придал слишком большого значения тому, что подумал об отце и что думал об отце не больше мгновения, и переключился на другие мысли, воспоминания, образы реальные и загадочные.

Мир для всякого входящего в него — случайное сборище знакомых и незнакомых людей, средоточие идей, деклараций, тайн, устремлений, тревог, радостей, комедиантов, печали, шуток, песен, звуков, знаков препинания, которые расставляют птицы, летая и расхаживая по веткам, заборам, по ступеням вокзальных лестниц.

Послания от таких зверей, как кролики, белки, суслики, ведущих удивительный образ жизни, существ с удивительными глазами. От свободных зверей. Они не то, что кошки и собаки, пленники домов и людей, не то, что коровы и лошади, козы и овцы, которые и не подозревают, что их удел — служить человеку и кормить его.

А в центре всего этого — ты сам, новичок, начинающий знакомство с этой реальностью. Ты сам. Ты понял, что, увидя однажды эту реальность, ты видишь ее снова и снова, потому что прозрел. Видеть сейчас и раньше, потому что вот она, тут, и была уже раньше, она и сама по себе, и уже стала частью тебя, и ты запоминаешь ее, нарочно или нечаянно.

И потому в принципе от любого писателя, вознамерившегося написать о людях, с которыми ему довелось встретиться, ждут, что вспоминать он будет о них в хронологическом порядке. Если это шумный эксцентрик, склонный к самовыражению, он предпочитает начать сначала; к примеру, знаменитый живописец заявляет, что он помнит, как вдруг осознал себя, это случилось как раз, когда сперматозоид отца встретил яйцеклетку матери, а его бдительное око зафиксировало все это, и с тех пор он неустанно следит за всем. За всем и вся, а затем он рисует на полотне так, как он видит, и именно это — верное видение, ибо жизнь вовсе не такая, какой кажется другим. Все изуродовано, вещает он, все — лишь частица всеобщего искажения; вселенная целиком — сплошное уродство, разрозненные обрывки того, что изначально было целым, вселенная — взрыв этих жутких обрывков, их жуткое кладбище, затопленное в жутких океанах, которые в миллиарды раз больше, чем озеро Ватокке близ Фресно, каким оно было в 1919 году.

А потом этот жуткий эксцентрик — это, конечно, я сам и только что все придумал — заявляет, что у памяти нет никаких правил. И впрямь, владелец книжного магазина на Монтолоне, которого я раньше принимал за француза, а он оказался армянином, начинает исчезать из памяти — образ улыбающегося господина, сидящего за конторкой и принимающего мелкие монетки в обмен на старые книги, подлинного друга, которого стараешься надолго запомнить, постепенно

блекнет и стирается. Очень скоро после того, как я сделал свое открытие и стал беседовать с ним на армянском, я начал забывать тихого господина, казалось, его никогда и не было, а ведь нет сомнения, что именно тот молчаливый человек достоин оставаться в моей памяти, а не этот — всего лишь один из соотечественников, учтивый и гордый.

Так Жирар становится Грайром, а подлинный язык всех людей, язык молчания, материализуясь в звуки, превращается в армянскую речь.

35



В самый первый раз, когда я приехал в Париж, в апреле – мае 1935 года, меня встречал на вокзале Сен-Лазар низкорослый суетливый французик, который по виду больше смахивал на англичанина или немца, потому что был толстый и невероятно серьезный, будто ему поручили очень важное дело, может, даже шпионить или выполнять задание секретной службы; к тому же на нем был черный котелок.

К этому времени я научился издали определять, кто меня встречает, и на сей раз, увидев человека с газетой в руках, сразу все понял. Я не ждал, что меня будут встречать на вокзале, хотя в Саутгемптоне представитель бюро путешествий посадил в лондонский поезд человек шесть или семь, в том числе и меня, а в Лондоне нас встречал другой представитель бюро путешествий, он посадил нас в автобус, который и доставил нас в маленькую захудалую гостиницу, где за постель и завтрак мы

платили, в пересчете на доллары, около полутора долларов.

Да, было времечко! Я, конечно же, чувствовал себя, что называется, миллионером.

И вот на парижском вокзале стоял человек и кого-то высматривал.

Я пошел прямо к нему, и он спросил:

– Сароян?

Он произнес мое имя на европейский манер, а ведь именно так и надо его произносить.

Потом он сказал:

– Добро пожаловать в Париж. Для вас приготовлена прекрасная комната в отеле «Атлантик» на рю де Лондр. Пойдемте пешком?

У меня был всего один чемодан, который он счел своим долгом взять, и мы отправились в отель пешком. Мне и в голову не пришло, что эта прогулка обеспечивала ему скромный заработок, около доллара, ибо ему дали деньги на такси.

Он привел меня в отель, мне понравилась комната, он уведомил меня, что поезд, теперь уже на Вену, будет на следующее утро, в удобное время, а там меня снова встретят и проводят в гостиницу.

– Я приеду завтра утром за час до отхода поезда, – сказал он и раскланялся, приподняв котелок, а я подумал, глядя на него: «Ну что ж, старина, неплохо быть знаменитым. Прямо как в кино. Вот он я – путешествую по миру, и все оказывают мне знаки внимания, все улыбаются мне, вглядываются в мою фотографию на паспорте, а потом – в лицо и аккуратно выводят мое имя

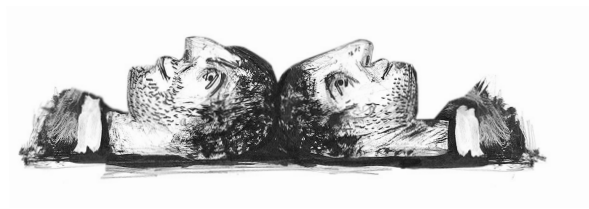
в журнале регистрации, понимая, чувствуя, что это не просто имя, а имя знаменитого человека, оно принадлежит гражданину мира, человеку искусства, писателю, наблюдателю, мыслителю, одному из бессмертных. Оно принадлежит мне».

Но в этом лишь доля шутки. Я испытывал одновременно необыкновенный подъем сил и почти полное изнеможение, потому что старался не пропустить никого и ничего. А вот теперь сказались дни, что я плыл по океану, часы, что я бродил по Лондону, сотни людей на пароме через Ла-Манш, в поезде, на вокзале, на улицах Парижа, все эти люди, все эти сцены навалились на меня с несокрушимой силой, захлестнули меня – такого раньше я за собой не замечал, хотя нечто подобное, только не в столь острой форме, происходило со мной постоянно.

Сколько раз я видел людей, похожих на человека в черном котелке, встречавшего меня на вокзале Сен-Лазар, и я неизменно к ним располагался, хотя каждый из них плутовал немножко. Ничего особенного, всего небольшой трюк: прогулка пешком два квартала с чемоданом, который он несет сам, чтобы сэкономить, то есть заработать около доллара.

Невинность этих людей всегда казалась мне даже лучше, не будучи столь же чистой, чем невинность никогда не грешивших.

36



Я работал один год на винограднике с армянином по имени Назарет Гарасян, в прошлом он был борцом; он принадлежал к числу тех немногих людей, у кого я чему-то научился, потому что он часто делал передых и говорил:

– Если противник захватит тебя, попытайся почувствовать ритм работы его мышц, понять, когда они у него напряжены, а когда расслаблены, и, улучив минуту расслабления, вырывайся изо всех сил, и, уверен, ты сможешь вырваться.

– Да, сэр, – обычно отвечал я, – но, вырываясь, можно ведь макушкой угодить ему по челюсти и нарушить правила игры.

– Нет, сэр, – обычно отвечал мне бывший борец. – Делая рывок и высвобождаясь, ты тем самым автоматически отводишь его от своей головы; но предположим, все-таки его подбородок оказывается на уровне твоей макушки и ты действительно наносишь ему удар по челюсти, тем лучше, мой мальчик. Не беспокойся, ты едва ли почувствуешь силу удара, а он очень даже вероятно упадет замертво от удара в челюсть.

— Да, сэр, — обычно отвечал я, — я запомню ваш совет.

А потом мы могли молчать минут десять, даже двадцать, а то и целый час, потому что обработка мускатного винограда требует внимания, да к тому же, замороженные красотой винограда, мы предпочитали молчать.

Норано или поздно борец армянин выпрямлялся и говорил:

— Если ты внизу, а он навис над тобой, и вот-вот твои лопатки коснутся мата, и он выиграет раунд, да поможет тебе Бог, вот и все, что я могу сказать.

— Да, конечно, — обычно отвечал я, — но неужели ничего нельзя сделать, чтобы помешать ему положить меня на лопатки?

— Почему же, можно, — обычно отвечал старый борец, — но это не так уж легко, почти невозможно, все в борьбе происходит очень быстро, а когда ты теряешь равновесие, где взять силы — ты ведь лежишь, тебе не на что опереться, собраться для контратаки. Остается выход, но это уже скорее искусство, чем спорт, лично мне удалось сделать этот финт за свою долгую карьеру профессионального борца раз пять — из ста случаев.

— А что же это за выход? — обычно спрашивал я.

— Исчезнуть, — отвечал Назарет Гарасян. — Именно так. Исчезнуть, выскользнуть из-под противника. Как это удастся, я никогда не мог понять, хотя изучал вопрос со всех точек зрения. Я весил, когда боролся, двести сорок фунтов, был сплошные мускулы и хрящи, а как тут исчезнешь?! И тем не

менее именно это я проделывал по крайней мере раз пять. Я лежал уже на земле, а мой противник — на мне. Однажды я боролся с самим Льюисом Душителем, другой раз — с Джимми Лондосом, а еще со Станиславом Шабиско, и внезапно я оказывался не на спине, а сверху, стоял на ногах, а мой противник поворачивался, чтобы сообразить, куда же я делся. И всякий раз я спрашивал себя: «Ну как же это получается?» А потом бой продолжался, и я выигрывал. В те времена из трех поединков два были отменные, думаю, ты и сам это помнишь.

— Да, — обычно отвечал я, — да, я, конечно же, помню. Но после того как вы столько размышляли над всем этим, к какому выводу вы пришли? Как же у вас получалось, что вы вот так исчезали? Что же это за удивительное исчезновение? Вы ведь не нарушали правил?

— Знаешь, — сказал Назарет, — в конце концов я пришел к выводу, что дело тут в христианстве. Ведь Христос тоже исчезал. Это другое чудо. Ведь неспроста же мы первые приняли Иисуса. Дело тут в христианстве.

— Конечно, сэр, — обычно отвечал я, — но ведь ваши противники тоже были христиане, все как один.

Борец подымал на меня глаза, внимательно выслушивал меня, а потом говорил:

— Это правда. Но ведь мы, армяне, христиане, вот в чем дело. Иисус, конечно, поможет и христианам ирландцам, грекам, полякам, но только после того, как поможет армянам.

Мне так и не представился случай воспользоваться советом борца.

Во всяком случае, мне так кажется.

Но кто сказал, что я христианин? Что касается меня, то я считаю — или принимаешь религию, или нет, правда, отвергая ее полностью, ты погружаешься в пустоту. Случайные встречи с живыми святыми и сукиными детьми подстерегают нас на каждом шагу.

ЛЕТОМ¹



Обо всем этом я ничего не помню. Но стоит мне услышать меланхоличный, щемящий сердце свисток продавца маиса, катящего свой фургон по улице, как я вспоминаю тот самый фургон и ту самую улицу, словно я еще восьмилетний мальчишка, который любил пристраиваться на ступеньках дома, что на Санта-Клара-авеню.

Я берегу память о тех днях, хотя в моей жизни их никогда и не было. То дни людей из другого мира, из других далеких городов и далеких времен.

Сидя на ступеньках крыльца, я вновь ощущаю, как возвращается ко мне горькая боль тех оборвавшихся мгновений, ощущаю и сами мгновения, хотя в моей жизни их никогда и не было.

...А небо — очень высокое, и совсем близкое, и чистое, и светлое, озаренное трагическим сиянием множества звезд. А воздух — теплый, каждую частицу его, кажется, взял бы на ладонь. И совершенно невозможно, вдыхая этот воздух, не вернуться туда, назад, к дню своего рождения, не окунуться в то теплое мгновение долгих лет сна,

¹ Из сборника рассказов «Трижды три». Нью-Йорк, 1936.

в теплые дни теплых месяцев августа, сентября, октября, в то крохотное тельце, мечтающее о вселенной. И совершенно невозможно не пережить вновь все те темные, теплые часы, когда во сне вдыхаешь воздух всей вселенной.

Лошадь и фургон с кукурузой медленно проползут по улице, а я все буду вспоминать, какими же все-таки были те дни, вернувшиеся сейчас ко мне. Я стану задавать вопросы. Где? Кто? Когда? Конечно же, был такой город, и такие дома, и люди, они приехали в город на арбах, запряженных волами, приехали верхом на верблюдах. И люди эти заполонили эти дома своими столами и стульями, снесью и вином, и сели за свои столы, и стали есть, и стали пить, и стали беседовать, а я — среди них.

...Я побегу за фургоном до перекрестка, не устая спрашивать: «Кто смеялся?» Побегу за ним вслед еще квартал и буду допытываться: «Кто надрывался от смеха?» А потом я вдруг вспомню — ведь мир полон опасности, и меня охватит страх перед всем миром, перед его жителями, бесчисленным множеством жителей. А потом я посмеюсь над своим страхом — вспомню смех того, кто смеялся, и сам засмеюсь. Я брошу страху вызов. Правда! Я стану смеяться. Конечно, во всем видимом и невидимом таится опасность. Что же, вот он — я. И я не боюсь.

Я вернусь домой, сяду на ступени и снова стану ждать. Пусть они приходят, воспоминания. И я представлю далекое море, дикое и полное опасности, и свирепый ветер, и ливень, и гро-

хочущий в темноте гром. Там холод, пронизанный опасностью, и бездонное море. А там, где кончается море, начинается земля. Теплая земля и чистые поля зеленой травы: деревья, скалы, ручьи, всякая живность; пушистые звери; глаза ночи. И птицы с яркими перьями. И глаза. Все это на земле. И города, и улицы, и дома, и люди.

...Однажды вечером младший брат моего отца Сетрак ехал по улице на велосипеде. Он слез с него, зацепил педалью за деревянный тротуар и подошел ко мне.

— Что это с тобой стряслось? — спросил он.

— Где мы жили вначале? — спросил я.

— Ты родился здесь, — сказал он. — Ты живешь в этой долине всю жизнь.

— А где жил мой отец? — спросил я.

— На старой родине, — сказал он.

— Как называется тот город?

— Битлис.

— А где тот город?

— В горах. Его построили в горах.

— А улицы?

— Они выдолблены в горах, они узкие и кривые.

— Ты помнишь моего отца на улицах Битлиса?

— Конечно. Он же мой брат.

— Ты видел его? — спросил я. — Ты видел, как мой отец ходит по улицам города, выстроенного в горах?

Я вскочил, спрыгнул с крыльца на мостовую и стал прохаживаться возле дома. Я отошел от дома, повернулся, пошел назад.

— Вот так ходил отец? — спросил я. — А что он говорил?

— Видишь ли, — сказал младший брат моего отца, — он говорил мало.

— Но ведь иногда он все-таки говорил? — спросил я. — Когда он говорил что-нибудь, что именно он говорил?

— Вспоминается мне один день, — сказал младший брат моего отца. — Мы вместе шли в церковь. И твой отец сказал: «Вах, вах, посмотри на нее, Сетрак. Посмотри, посмотри».

— Ты слышал, как он сказал? — спросил я. — Вах, вах? А что это значит?

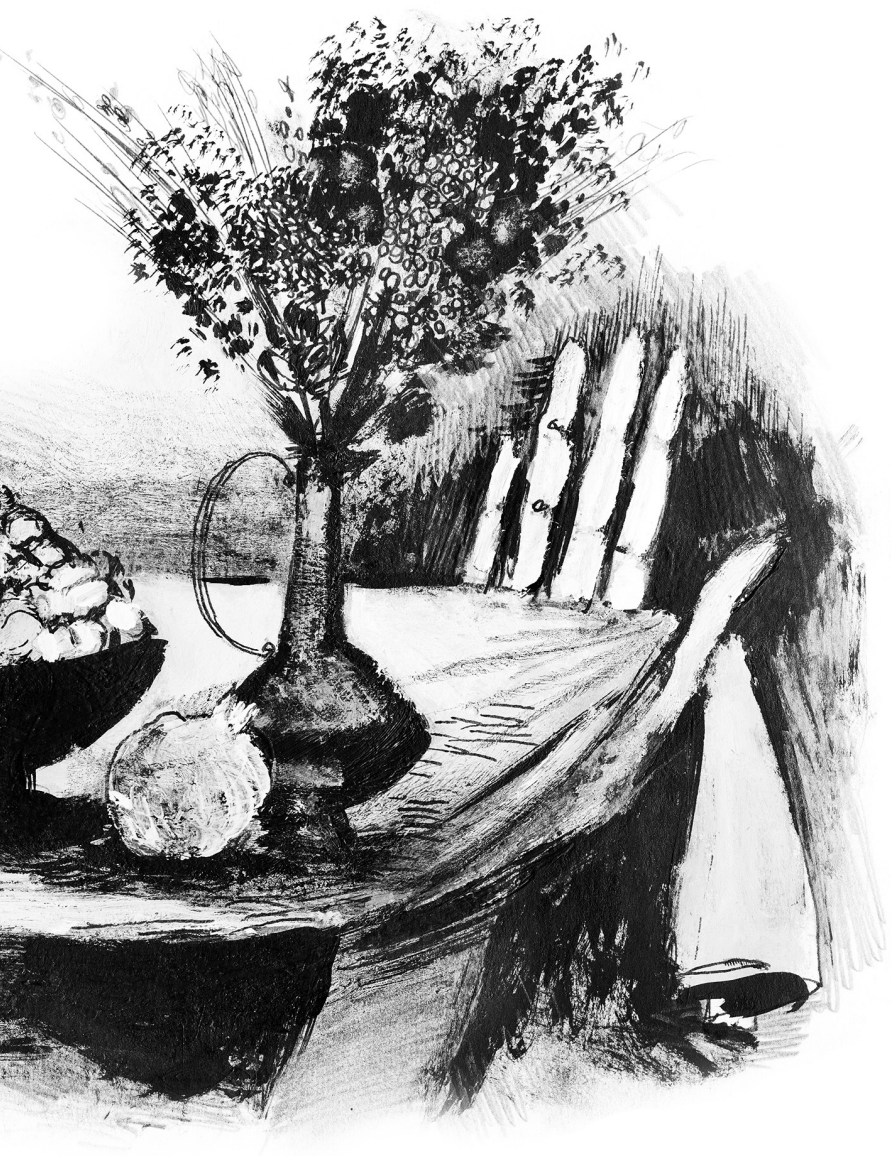
— Да ничего, — сказал брат моего отца. — Ничего не значит. Все значит.

— Вах, вах, — сказал я, как мой отец. — Посмотри, посмотри.

Младший брат моего отца уехал на велосипеде, а я сел на ступеньки крыльца. Я вдыхал этот воздух, и ко мне вернулись дни, когда мой отец жил в городе, выстроенном в горах. Я знал — он не умер, потому что я дышал, а небо — очень высокое, и совсем близкое, и чистое, а воздух — теплый, каждую частицу его, кажется, можешь взять на ладонь. И это было мгновение всех дней и всех людей, это был мир — мир всех родившихся, мир всех, кто когда-нибудь мечтал в долгие теплые дни августа, сентября, октября...

SAROYAN'S
FABLES



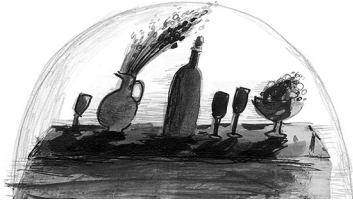


TO MY UNCLE
ARAM SAROYAN

BEING A HANDFUL OF OLD ARMENIAN
STORIES REMEMBERED BY HIS RELATIVES
FROM THE OLD COUNTRY,
SET DOWN IN VERY SIMPLE ENGLISH,
AS WELL AS SEVERAL STORIES ABOUT A NUMBER
OF YOUNG AND OLD ARMENIANS
OF HIS HOME TOWN, FRESNO, CALIFORNIA,
SET TO PAPER HERE FOR THE FIRST TIME
IN ANY LANGUAGE

I

*The Parable of the Loveliness of Faith
in God and How It Saved the Life
of at Least One Good Man*



My grandmother Lucy, to illustrate the awful loveliness of faith in God, and the absurdity of despair, tells the story of the carpenter of many hundreds of years ago who, on his way home one evening, was stopped by a friend who said, My brother, why are you so down in face?

You too would feel as I do, the carpenter said, if you were in my position.

What is it? his friend said.

By tomorrow morning, the carpenter said, I must have eleven thousand eleven hundred and eleven pounds of fine hardwood sawdust for the King or I will lose my head.

The carpenter's friend smiled and put his arm around the carpenter's shoulders.

My friend, he said, be light of heart. Let us go eat and drink and *forget* tomorrow. The great God shall remember for us while we worship.

So they went to the carpenter's home where they found the carpenter's wife and children in tears. This was stopped with eating, drinking, talking, singing, dancing, and all manner of faith in God and goodness. In the midst of laughter, the carpenter's wife began to weep and said, so, my husband, in the morning you are to lose your head and we are all enjoying the goodness of life. So it's that way.

Remember God, the carpenter said. And the worship continued.

All night they celebrated. When light pierced darkness and it was day, everyone became silent and stricken with fear and grief. From the King came his men knocking softly at the door of the carpenter's house, and the carpenter said, Now I go to die, and opened the door.

Carpenter, they said, the King is dead. Build him a coffin.

II

*What the Intelligent Young Man Said
of the Bird-Brained Young King Who Thought
it was Funny to Assign People
to Whimsical but Impossible Tasks*



My uncle Aram, to illustrate any number of extraordinary things, tells the story of another King and another man. This King was given to ridiculous whims, and this man, one of his advisers, had more good sense, wit, and daring than the King and all his ancestors put together.

The King said one evening, By morning I want you to let me know how many blind there are in this city.

Oh, the adviser said. Oh, I see.

He went away to think of a solution to this absurd assignment. He obtained the services of an expert bookkeeper, placed him on a fine horse, put a book and a pen in his hands, and told him to ride through the city and to put down the blind as they came to them. With a strong rope, to the saddle of his horse, the adviser tied an enormous branch of a lilac tree,

and dragging this behind him began to ride over the streets of the city.

After a moment a man in the street looked up and shouted, Mahmed, what are you doing?

The adviser turned to the bookkeeper and said, Bookkeeper, this man is blind. Begin your account.

On the next street a lady put her head out of a fine house and said, Young man, what are you doing? and the adviser told the bookkeeper to continue his account.

By morning the account of the blind included all the people of the city and the adviser and the bookkeeper turned their horses into the gardens of the King's palace, still dragging the branch of the lilac tree.

The King himself came out onto a balcony and looked down at his adviser.

Hey, Mahmed, he shouted. What are you doing?

The adviser turned quickly to the bookkeeper and said, Bookkeeper, the account is now complete. This son of a bitch is blind too.

III

*How the Bear Took Pity on the Foolish Hunter
Who Sold the Bear's Skin While it Still
Surrounded the Live Bear*



To illustrate the comic stupidity of people who get ahead of themselves in their ambitions and dreams, my uncle tells also the story of the two Arabs, one wise and one foolish, who went into the hills to shoot bears.

I have already sold the skin of my bear, the foolish one said. Have you sold yours?

No, the wise one said. I shall begin to think of that after I have killed a bear. How is it that you are so confident?

Oh, the other said, it is simply that I am so expert at shooting, so wise in the ways of bears, and so shrewd in transactions.

They went far into the hills and broke away from one another. An enormous bear appeared from behind an enormous boulder in front of the foolish Arab who dropped his gun, fell to the ground, and pretended to be dead. The bear came up to him, smelled him all over, watered in his face, and then

slowly walked away. When the bear was far away, the foolish Arab got up and dried his face. The other Arab came to him and said, What did the bear say to you?

The foolish one, who was now less foolish than he had been, said, The bear said, From now on don't sell my skin till you've got it off my body.

IV

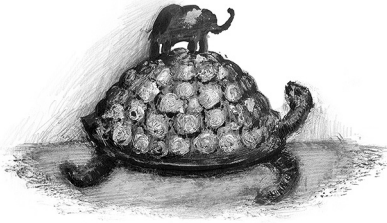
*The Meaningless but Beautifully Angry
Remark of the Bear to His Friend
on the Subject of Hypocrisy*



By way of reprimanding two-faced people who speak well of a man to his face and libel him to others, he tells also the story of the bear and the man who were friends and went for a walk one day in the winter. The man stopped and blew on his hands and the bear said, My friend, why do you blow on your hands? To warm them, the man said. After their walk they went to the man's house for supper and when soup was served the man blew on it and the bear said, My friend, why do you blow on the soup? To cool it, the man said. The bear (in much the manner of an angry man, with the temperament of my uncle) roared, I revile that breath which blows both hot and cold.

V

*How the Pompous Remark of the Turtle Spoiled
the Last Moments of the Lion Who was Shot
by a Hunter but was Still Proud and Lonely. And How
the Flea in the Elephant's Ear Grew to Weigh Twice
as Much as the Elephant, Owing to Imagination*



To return small people with pretensions to greatness to their normal size, he tells also the story of the lion wounded by the bullet of a hunter, roaring with pain and on the verge of coming to death. Came the small slow-moving turtle to the lion and said, What is your pain?

I have been shot by a hunter, the lion said.

The turtle became angry and said, May the arms of such men be broken who come to injure magnificent creatures of the earth like us.

Brother turtle, the lion said, let me tell you the injury of the hunter pains me less than what you have just said. And then the lion died.

On this same theme, he tells also the story of the flea in the elephant's ear as the elephant walked across a bridge. My friend, the flea said, when enormities like us cross a bridge it shakes with our mightiness.

VI

How the Slightly Kind-Hearted Husband Almost Lost His Wife and Donkey, and Would Have, Except for the Grace of God Operating in an Anonymous Judge, May His Wisdom Return to the Living Once Again to Protect All Wretches With Generous Impulses



A husband and wife were traveling by donkey over a mountain road to Bitlis when before them appeared a blind man groping for his way.

The husband said to his wife, God has given you two eyes; get down and walk and let the blind man ride.

The wife said, the blind take advantage; let us pass by. But the husband had taken pity on the blind man and wanted him to ride.

Look, he said. He is hurting his feet; get down and let him ride.

So the wife got down and the blind man got up beside the husband. The wife walked, the men rode and came at last to the city.

The husband said, this is Bitlis; we will leave you here; get down.

Get down? the blind man said. Just because you guided my donkey for me through the hills, you want to steal the animal?

The wife saw the trouble coming and groaned.

My foolish husband, she said.

Please get down, the husband said. I took pity on you and carried you on my donkey to the city. Now go your way.

The blind man began to shout. A crowd gathered. The blind man spoke to the people. The husband saw that the people were more in sympathy with the blind man than with him, so he said to his wife, You were right; I have made a mistake; let him have the donkey; let us go.

Yes, the wife said. Let us go.

The blind man called out, First you wanted to steal my donkey; now you want to steal my wife; and my wife, seeing a whole man, no longer wants a blind one.

The wife groaned with terror. The husband was speechless.

The crowd believed the blind man. He was blind. They pitied him because he could not see.

The wife began to cry. The husband refused to go away without his wife.

They went to court and the blind man explained that he and his wife had been traveling on their donkey to Bitlis when the donkey became stubborn and would not move; this other man appeared and urged the donkey on and arrived with them in the city where he first tried to steal the donkey and then the wife.

The husband then told the truth, speaking bitterly and cursing himself for having such a soft heart.

The wife then told the truth and wept.

The Judge discovered that from the way the three spoke one could not tell which was lying, so he said, Place each of these in a separate room. Let each be watched, and in the morning report to me what is learned.

This was done.

When the blind man thought he was alone he began to smile. He then yawned, stretching his muscles. He then began to dance. He said to himself, I've got the donkey; if I can get the wife, mine will be the life.

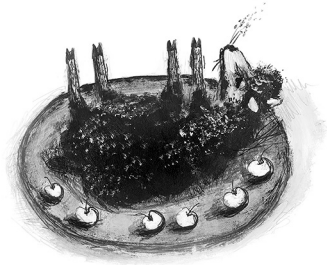
The husband cursed himself over and over again for his stupidity in wanting to help a blind man.

The wife wept.

In the morning this information was given to the Judge. He had the blind man placed in jail. The husband and wife went away on their donkey.

VII

*What Happens If You Try
to Satisfy Some People*

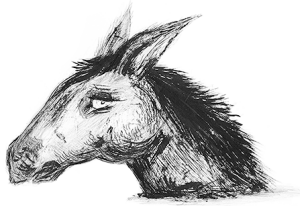


There was a blind man in a household to whom the others gave the best of all things: food, clothing, bed, covers, and all; yet he was filled with discontent and wailed all day and all night because of his ill-treatment. The family drank water and gave the blind man milk; they had one cup of rice and gave him three; they had half a loaf of bread and gave him three loaves; but still he complained. In fury and despair the family killed a lamb, roasted it, placed it on a platter, and put it before the blind man. He smelled it, began touching it to find out how large it was, and then began to eat, but before he had swallowed the first bite he said, If this much comes to me, how much goes to you?

William SAROYAN

VIII

*The Embarrassment that Came to the Crook from
Odessa Who Tried to Swindle the Bright Boy of Bitlis*



A dishonest man came from Odessa to Bitlis because he was too well-known in Odessa. In Bitlis he saw a boy of eight who wore on his finger a ring with a priceless jewel in it.

My child, he said to the boy, if you will give me that toy on your finger I will give you three pieces of gold and you can buy a hundred of them.

If you will get down on your hands and knees, the boy said, and walk up this street, braying like a donkey, I will do so.

The dishonest man was unknown in the new city, so he got down on his hands and knees and began to walk up the street, braying like a donkey. At length he got up and said, all right, my child, give me the ring.

Go back from wherever you came, the boy said. With your donkey's brains do you think you know the value of this ring, and I with my man's brains do not?

IX

*The Tribulations of the Simple Husband Who Wanted
Nothing More than to Eat Goose but was Denied
this Delight by His Unfaithful Wife
and Her Arrogant but Probably Handsome Lover*



A simple husband one morning took his wife a goose and said, Cook this bird for me; when I come home in the evening I shall eat it.

The wife plucked the bird, cleaned it, and cooked it. In the afternoon her lover came. Before going away he asked what food he could take with him to his friends. He looked into the oven and saw the roasted goose.

That is for my husband, the wife said.

I want it, the lover said. If you do not let me take it, I shall never love you again.

The lover went off with the goose.

In the evening the husband sat at the table and said, Bring me the goose.

What goose? the wife said.

The goose I brought you this morning, the husband said. Bring it to me.

Are you serious? the wife said. You brought me no goose. Perhaps you dreamed it.

Bring me the goose, the husband shouted.

The wife began to scream, saying, My poor husband has lost his mind. My poor husband is crazy. What he has dreamed he imagines has happened.

The neighbors came and believed the wife, so the husband said nothing and went hungry, except for bread and cheese and water.

The following morning the husband brought his wife another goose and said, Is this a goose?

Yes, the wife said.

Am I dreaming? – No.

Is this the goose's head? – Yes.

Wings? – Yes.

Feathers? – Yes.

All right, the husband said, cook it. When I come home tonight I'll eat it.

The wife cooked the goose. The lover came.

There is another goose today, he said. I can smell it.

You cannot take it, the wife said. I had a terrible scene with my husband last night, and again this morning. It is too much, I love you but you cannot have the goose.

Either you love me or you don't love me, the lover said. Either I take the goose or not.

So he took the goose.

Bring the goose, the husband said.

My poor husband, the wife screamed. He's stark raving mad. Goose, goose, goose. What goose? There is no goose. My poor, poor husband.

The neighbors came and again believed the wife.

The husband went hungry.

The following morning he bought another goose. In the city he hired a tall man to carry the goose on a platter on his head. He hired an orchestra of six pieces, and with the musicians in a circle around the tall man carrying the goose, he walked with them through the streets to his house, calling to his neighbors.

When he reached his house there were many people following him.

He turned to the people and said, Mohammedans, neighbors, the world, heaven above, fish in the sea, soldiers, and all others behold, a goose.

He lifted the bird off the platter.

A goose, he cried.

He handed the bird to his wife.

Now cook the God damned thing, he said, and when I come home in the evening I will eat it.

The wife cleaned the bird and cooked it. The lover came. There was a tender scene, tears, kisses, running, wrestling, more tears, more kisses, and the lover went off with the goose.

In the city the husband saw an old friend and said, Come out to the house with me tonight; the wife's roasting a goose; we'll take a couple of bottles of *rakki* and have a hell of a time.

So the husband and his friend went out to the house and the husband said, have you cooked the goose?

Yes, the wife said. It's in the oven.

Good, the husband said. You were never really a bad wife. First, my friend and I will have a few drinks; then we will eat the goose.

The husband and his friend had four of five drinks and then the husband said, All right, bring the goose.

The wife said, there is no bread; go to your cousin's for bread; goose is no good without bread.

All right, the husband said.

He left the house.

The wife said to the husband's friend, My husband is crazy. There is no goose. He has brought you here to kill you with this enormous carving knife and this fork. You had better go.

The man went. The husband came home and asked about his friend and the goose.

Your *friend* has run off with the goose, the wife said. What kind of a friend do you call that, after I slave all day to cook you a decent meal?

The husband took the carving knife and the fork and began running down the street. At length in the distance he saw his friend running and he called out, Just a leg, my friend, that's all.

My God, the other said, he is truly crazy.

The friend began to run faster than ever. Soon the husband could run no more. He returned wearily to his home and wife. Once again he ate bread and cheese. After this plain food he began to drink *rakki* again.

As he drank, the truth began to come to him little by little, as it does through alcohol.

When he was very drunk he knew all about everything. He got up and quietly whacked his wife across the room.

If your lover's got to have a goose every day, he said, you could have told me. Tomorrow I will bring TWO of them. I get hungry once in a while myself, you know.

X

*How the City Slicker Made a Monkey
out of the King Who Thought He Was Too Smart
to be Fooled by Anybody,
Let Alone a Common Old-time Pitchman*



A king's counselor came to him and said, there is a fast-talker in the city who is going about, getting honest men to give him money for nothing.

How is that? The King said.

He has a way, the counselor said. He catches your eye, talks to you quickly, and before you know what you've done you've given him your money and he has disappeared. He has taken money from the wisest only.

I don't believe you, the King said.

It is true, the counselor said.

Go fetch him, the King said. I should like to see him fool me. If he fails to do so, you lose your head.

The counselor went to the slicker and said, The King challenges you to fool him, and you'd better be good.

I? the slicker said. Fool the King? God forbid.

William SAROYAN

If you don't, the counselor said, I lose my head and you lose yours with mine. Come along and don't forget to be good.

As you say, the slicker said.

The counselor took the slicker to the King.

The King said, I have been told that you fool the wisest of men, taking money from them. I take pride in my wisdom; fool *me*.

O Living King, the slicker said, I am sorry but that is impossible. I have placed all my tools in hock and without them I can fool no one, not even the most gullible of country bumpkins. I am at your mercy.

Go fetch your tools, the King said.

I have no money, the slicker said.

How much did you borrow on your tools? the King asked.

Two hundred pieces of gold, the slicker said.

Counselor, the King said, give the young man two hundred pieces of gold and let him go fetch his tools. We shall see if he can fool me.

The counselor gave the slicker two hundred pieces of gold. The slicker modestly bowed his way out, promising to return in two hours. The King sat back to wait. The counselor smiled, ever so faintly.

What are you smiling about? the King said.

If you wait for him to return, the counselor said, you will wait in your children and their children. You have been fooled, O Living and Wise King. His tools are his tongue.

XI

*What the Armenian Butcher Said
to the Armenian Barber Without Speaking,
in the Presence of the Astounded King
and the Astounded King's Unastounded
but Very Suspicious Spy*



A spy went to a King and said, We can learn nothing of the Armenians because they can speak to one another without speaking.

What are you talking about? The King said.

When they speak aloud we can learn a few simple and unimportant things about them, the spy said, but it is when they speak to one another and do not utter a single word that we cannot learn anything. They understand one another in a glance. It is then that we are helpless. Even when they speak aloud, what we understand is usually false because of their glancing at one another which changes the meaning of what they have said.

You are speaking of one or two exceptions among the whole people, the King said. That is nothing to bother me about.

I am speaking of all of them, the spy said. They all speak the unspoken language.

All right, the King said. We shall see. Bring me two of the humblest of them. A barber, let's say, and a butcher.

The spy went to Isro the barber and said, The King wants to see you, a barber?

He went with the spy to the King.

The King looked at the barber, watching him. Is he speaking? The King wondered. The barber had said nothing. The King waited for the arrival of the butcher.

After a while the spy returned with Boghos, the butcher, who also had wondered why the King would want to see *him*, a butcher. When the butcher saw the barber he knew the other was an Armenian. He glanced at the barber quickly as he moved toward the King. The barber glanced back quickly at the butcher.

The King said, Now that they are here, let them speak without saying anything.

They have already spoken, the spy said.

What have they said? the King said.

That is hard to say, the spy said. They have surely said one of a-thousand-and-one things. From what *I saw*, the spy said, I would say that the butcher said, Countryman, what goes on? And the barber said, Countryman, I'm not sure, but it appears that these jackasses think they're going to get us to talk.

XII

*How the Devil was Humiliated Three Times
by the Young Native of Bitlis Who Never
so Much as Went to School*



The devil heard that the natives of the city of Bitlis were the cleverest people in the world and decided to visit the city and see if he could fool them. On his way to the city he became exceedingly weary from travel and was pleased to be overtaken by a young man moving forward at a happy and furious stride.

My friend, the devil said, where are you going?

I am going to Bitlis, the other said.

I am going to Bitlis too, the devil said. Let us journey the rest of the way together.

That will be a pleasure, the other said.

How much farther have we to go? the devil said.

Ten miles, the young man said.

How long have you been walking? the devil said.

One night, two days, the young man said.

The devil had been walking only part of one day and was exhausted. It seemed very strange that the young man should be so vigorous after so much walking. In truth the young man had been walking two hours.

Are you going to the city of Bitlis for the first time? the devil said.

I went to the city of Bitlis for the first time, the young man said, when I was born.

I see, the devil said to himself, he is one of the clever ones. I shall fool him.

Since we are going to the same place, the devil said, let us make a bargain so that we will not exhaust ourselves. You have traveled a long way and so have I. You carry me on your back while I catch my breath and rest; then I will get down and carry you a distance on my back while you catch your breath and rest.

Good, the native of Bitlis said. How shall we decide on a just procedure, so that one of us shall not take advantage of the other?

That will be simple, the devil said. The one who rides shall ride until he has finished singing a song.

That's fair, the other said. Will you ride first?

Thank you, the devil said. He got on the back of the young man and began to sing. He sang the song of the Armenian alphabet, the morning's light, which takes each of the 38 letters of the alphabet for a verse. Sung slowly, as the devil sang it, the song will end only after a half hour or so. The devil was quite refreshed with his rest and quite pleased with the bargain he had made. He got down and the native of Bitlis got on his back and began to sing.

He began to sing a chant of the Armenian church which endures as long as the chanter chooses: dai ni, nai ni, nai ni, nai ni, ni; don ni, non ni, no. Over and over again. If necessary the song can continue into infinity.

What kind of a song do you call that? the devil said.

It is a simple song of a simple people, the young native of Bitlis said.

How many verses are there? the devil said.

One and a million, the young man said.

Surely it begins and ends, the devil said.

No more than the world or Almighty God, the young man said, and continued to sing, dai ni, nai ni, nai ni, ni; don ni, non ni, no.

The devil carried the young man all the way out of the hills into Bitlis.

He had been shamefully fooled and wanted to fool the one who had fooled him, for revenge.

My friend, he said, what is your labor?

I work with the earth, the young man said.

Let us be partners, the devil said.

Good, the young man said.

They planted a field of onions and the day came to harvest.

What will you have, the devil said, the tops or the bottoms?

Either will please me, the young man said.

No, the devil said, make a choice.

Very well, the young man said. I'll take the tops.

The devil had been fooled once; he had no intention of being fooled twice.

If you please, he said. *I* will take the tops; you take the bottoms.

The devil cut off the tops of the onions and tried to sell them. The young man dug out the fine onions and sold them all.

Now the devil had been fooled twice. He had been humiliated twice, and was more than ever eager to fool the native of Bitlis.

Let us be partners again, he said.

Good, said the other.

What shall we plant this time? the devil said.

Wheat?

So it was wheat. The day of harvest came and the devil said, What will it be this time, the tops or the bottoms?

Well, the native of Bitlis said, I'll take the bottoms again.

No, the devil said. This time you take the tops and let *me* take the bottoms.

So again the devil was fooled. In the evening he quietly slipped away from the city and to this day has never returned, except incognito and for the pleasure of admiring the natives, from a safe distance.

XIII

*The Lies the Bald-Headed Man and the Man
with the Running Nose Told the Man
with the Crooked Leg, in a Small Contest,
and What He Said in Reply*



These three were together one day, the bald man scratching his head, the man with the running nose rubbing away the water, and the man with the crooked leg straightening it out all the time, each to relieve his discomfort.

The bald man said, Let us see which of us shall be able to forget his discomfort longest.

It was agreed.

Flies lighted on the bald one's head and began to open the sores. The irritation increased until it was insufferable, so this one said, My friends, when I was a boy my father went to Constantinople and returned with a fez for me. It was an extraordinary fez. I would put it on top of my head this way and it would fall off; I would put it on over my left ear, in this manner, and again it would fall off; I would put it on over my right

ear; again it would fall off; then I would put it on the back of my head; then at the front; but no matter how or where I put it on, it would fall off.

Explaining in this manner about the fez, the bald-headed man drove away the flies, scratched his head all over, and relieved his discomfort.

The other two saw the cleverness of his performance. The man with the running nose said, How strange that when I was a boy my father should have gone to Constantinople too. He returned with a very fine rifle of German manufacture and used my nose for target. One shot went this way; another this way; another this way; until the gun had been emptied.

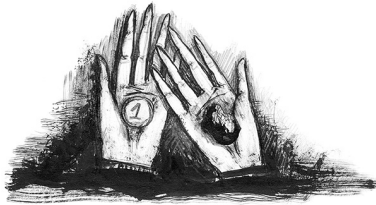
In this manner the man with the running nose relieved his discomfort.

The man with the crooked leg was in great pain by this time and wondered what his father should fetch from Constantinople that would relieve *his* pain. The longer he thought, the more certain he became that nothing from Constantinople or anywhere else, when he was a boy or at any other time, could enable him to lift his crooked leg and kick it about.

He lifted his crooked leg and, kicking it about, said, If what you have said is the truth, let this crooked leg in this manner kick your fathers through hell, throughout all eternity.

XIV

*How the King Who Wanted to Believe
the Blind of his Realm were Nice Got Back
his Gold Coin from the Blind Thief Who Looked Like
a Saint but Acted Human Just the Same*



A King was told that the blind of his realm were greedy and deceitful.

How can that be? he said. They cannot see; how can they be greedy and deceitful?

He was told to go to the blind and see for himself.

He went to this place of the blind and stood among them. When he had found one who seemed to have a saintly face he said, A kind man passing in this street gave me a gold coin.

The blind man said, My hand has never touched a gold coin. Please let me hold the coin.

The King said, It is like all other coins, except that it is larger and heavier.

I have never touched a gold coin, the blind man said. That is a thing I want to do before I die. Please

let me hold the coin a moment. I will give it back to you.

The King handed the coin to the blind man. The blind man moved away silently and hid behind a rock. The King called out, Where are you, my friend? Please give me back my gold coin.

There was no answer.

The King called out again, but again there was no answer. He went close to the hiding blind man, lifted a rock, and said, Almighty God, let this rock find the head of the greedy, deceitful blind man who has stolen my coin of gold. He then bounced the rock off the head of the blind man. The blind man said to himself, That was accidental; pure bad luck for me, that's all.

The King picked up another rock and said, Almighty God, let this rock find the ankle of the blind thief. He then bounced the rock off the blind man's ankle.

The blind man said, His good luck is extraordinary.

The King picked up another rock and said, Almighty God, let this rock find the eyes of the blind thief.

Then the thief leaped to his feet and said, You keep Almighty God out of this; here's your lousy gold coin; you've got *eyes*, and it ain't fair.

XV

*The Surprise the Rabbit
Got Who Imitated
the Roaring Lion*



A lion wakened from sleep one afternoon and began to roar, waking all the sleeping animals for miles around. A rabbit wakened and saw all the other animals running away and hiding. The rabbit said, Why should the lion roar that way and make everybody run and hide? Why shouldn't I roar and drive them away too? So the rabbit began to roar. The rabbit roared with all its might. The roar was a squeak that a hungry fox heard. The fox came and pawed the rabbit's head, killing it, and said, You are a rabbit, not a lion; in the future remember your place.

XVI

*How the Mahammedan Period of Fasting was Brought
to an Official End because Now and Then Even
a Handful of Deaf People are Thrown Together
by Humanity for the Purpose of Sending
a Little Laughter Down the Ages*



Ramazan is the Mohammedan time of fasting. It endures about thirty days, when the time becomes the time of *beiram* and eating again. Ramazan ends when three of the faithful go to the top of a hill, sight the new moon, return to the city, raise their hands, and swear that they have seen the new moon. Then guns are fired and it is *beiram*.

On the third day of Ramazan seventy or eighty years ago a deaf villager found two sheep in a street over which a half hour before a deaf shepherd had passed with his flock. One of the sheep was lame in the right front leg. The villager said, I am a man famous for my honesty; I will return the two lost sheep to the shepherd.

He drove the sheep before him out of the village into the hills toward the shepherd.

A deaf husband quarreled with his wife and in a fury left the house, shouting that he would never return as long as he lived. He was through forever. To hell with her and her everlasting nagging. There was a limit to everything.

He began walking toward the hills.

The deaf villager who had found the two sheep reached the deaf shepherd and said, My brother, my honesty is known throughout the width and breadth of the land. My name is Osman. Here are your sheep.

The deaf shepherd said, Son of Heaven, take this sheep with the lame leg for yourself.

The villager said, What is the meaning of this? I am good enough to return your lost sheep to you, and now you tell me I broke the creature's leg. What kind of a man are you anyway?

Please, said the shepherd. It was kind of you to return the sheep, but why should you insist on having a whole sheep instead of the crippled one? You are only going to slaughter and eat it. Why should you object to a broken leg?

The shepherd and the villager saw the angry husband stumbling about in the hills and called out to him, so that he might help them settle their argument.

I see, the husband said. They know of my quarrel and want me to go back to my wife. Well, they can mind their own business. No matter what they say, I'll not do it.

He joined the other two. The villager said, my name is Osman. My family is famous for its honesty

these last seven generations. I found this man's lost sheep in the village and drove them before me three miles. I have returned the sheep to him and now he says I have broken one of the sheep's legs. That sheep, he shouted bitterly, was lame from the beginning.

Please listen to me, my friend, the shepherd said to the angry husband. All that I ask is that he takes the lame sheep for himself instead of the whole one. I'm deeply grateful to him for his kindness in returning the sheep to me. I am rewarding him, but why should he demand a whole sheep? You be the judge. Am I right or not?

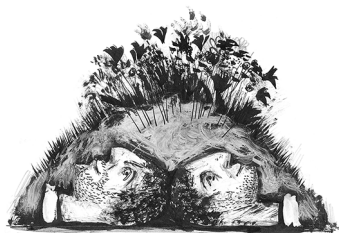
Speak all you like, the deaf husband said. I've quarreled with her for the last time. I'm through with her. No power in heaven or hell will get me to go back to that house. Talk to the end of time and still you won't get me to go back.

This discussion went on for a half hour, each man insisting that he was right.

They came down from the hills to the village, to the court of the deaf Judge. One at a time, the villager, the shepherd, and the angry husband raised his hand and told his story. The deaf Judge listened to the end, then announced loudly, Three of the Faithful have sworn that they have seen the new moon. Tell the villagers to fire the guns. *Ramazan* is ended. It is now *beiram*.

XVII

*How the Dishonest Traders Outwitted Each Other
but Died in the End Nevertheless
and Unwittingly Caused Little Children
to Thank God for Flowers*



Two Crooks agreed to make a trade. Honest people knew them for what they were and refused to speak to them, let alone enter into relations with them. So the crooks themselves, a little absurdly, and more by way of keeping in form rather than to cheat one another, agreed to make a trade. The objects to be traded were negligible, so they could afford to be casual.

One had tobacco, the other a horse. They traded.

Now about that tobacco, one said to the other. I may as well tell you, it is old, moldy, and might, for all I know, be poisonous. If you *must* smoke it, don't inhale. That won't be easy to do anyway, as the tobacco is wet. You must hold a flame to it all the time.

That's all right, said the other. Now about the horse. Whatever you do, don't try to ride him. He's vicious. He's also blind and feeble-minded. In going

downhill, hold the horse by the tail, so that he won't fall and roll down. In going uphill, hold the reins in your hand and lead him. Hold tight, or he'll fall backwards.

Consequently, the trade appeared to be honest, and therefore unnecessary. Everything balanced perfectly. The whole transaction seemed rather absurd.

The man with the tobacco decided, however, that what the other had told him was nothing more than exaggeration, intended to confuse him and make him feel that he had been cheated. Consequently, he rolled a cigarette and began to smoke. The tobacco *was* wet. It *was* old and moldy, but still it was tobacco, so he inhaled. The result was that he was deathly ill for the rest of the night, and for a week very feeble.

The man with the horse, on the other hand, reasoning in much the same manner, leaped upon the horse and very soon found himself flat on his back, which appeared to be broken, but was actually only strained. With great effort he got up and traveled by foot to his home, holding the horse by the tail going downhill, and leading the horse uphill. He also decided to sell the horse.

The transaction *had*, in reality, been an honest one. Neither one nor the other had profited by it.

The crooks sat alone for weeks, troubling and brooding. At last each of them got to his feet, almost simultaneously, and said, Heygidi, I am an old man. Heygidi, I shall soon die. Heygidi, I must be honest from now on. Heygidi, in the last transaction, I cannot cheat. I get death, and death gets me. I get

nothing, and death gets nothing. Heygidi, cheating, I was cheated. Heygidi, if I could only live again.

Death took the bodies of the two crooks and spread them deep into sterile earth. The following Spring the earth flamed with flowers.

Heygidi, said Death, even the carcass of a thief is food for hungry earth and color for eager flowers.

Children came and picked the flowers. Heygidi, they cried with joy, this year God sent us flowers.

Thus, in ever deepening truth the trade was a good and honest one, and nobody and nothing was cheated.

XVIII

*What Happened to the Wise Guys Who Scoffed
at the Family Man Whose Faith was so Great
that even in Tragedy He Said, Praise God,
He Knows What He is Doing*



A simple smiling man once lived in a world no better and no worse than our world, so that naturally many unhappy events took place, some of them to him, so unimportant and humble. The simple man, however, was never distressed by any event, no matter how cruel or unjust it might be. The first thing that would occur to him in the midst of tragedy, small or large, was to remember God and say, Praise the wisdom of God. He knows what He is doing.

This he said no matter what happened.

Consequently, he was regarded by idiots as a stupid man, whereas actually, he was simple. In fact, in a quiet way, he was very wise.

Those who regarded him as fool decided one day to give his faith a real test. The man had a donkey. Next

to his wife and nine children, it was the most valuable thing he had. With the help of the donkey he was able to earn enough money to support his family, to satisfy his hunger and theirs, to sleep in a simple house, and to be pleased with the goodness of God.

So they took his donkey into the hills and tied it to a tree. When the simple man returned, he asked humbly, Where is my donkey?

Kurdish thieves on horseback came and stole it, he was told.

The poor man saw his whole life changed, perhaps ruined. Nevertheless he said, Praise the wisdom of God. He knows what He is doing.

The others moved on with their donkeys, and the faithful walked. After an hour he caught up with the others. Now they too were without donkeys. Eleven of them, each without his donkey.

What happened? the poor man said.

The others now appreciated the beauty of his faith and told him the truth.

Kurdish thieves on horseback came and stole our donkeys, they said.

Then we must *all* praise the wisdom of God, the poor man said.

Yes, said the others. We must all learn from you. Your donkey is safe, because you have always had true faith. Go into that hill. Your donkey is tied to a tree. *We*, in scorn, tied the donkey to the tree, and proved the power of your faith.

The poor man went into the hill and found his donkey, and rode home praising God.

XIX

*One of the Long and Confidential Prayers the Religious
Old Armenian of Fresno Used to Make Every
Wednesday Night at the First Armenian
Presbyterian Church About Twenty Years Ago,
and How Empty the World is Without Him*



Prayer – Meeting night in Fresno, California twenty years ago always brought an old man to The First Armenian Presbyterian Church, and there every Wednesday night this old man prayed, while everybody else listened carefully. This man prayed in a very powerful voice and with great – almost unbelievable – faith in his nearness to God. He gave the impression of being a close friend of God, perhaps a nephew. It was all very beautiful, and it is a pity that the man is now dead, and that nobody else, not even preachers, pray the way he used to pray.

Oh God, he used to get up and say, I have come to this little church again to put everything before you just as it is, not too much on one side and not too

little on the other. I am still in good health, thanks to You. No complaints. On the way to the church, a thought occurred to me. I was walking in front of Mompreh's store on Santa Clara Avenue – with all the flies in it – flies on everything. Now don't You think a man like that, twenty-two years in this enlightened country, would get a fly-swatter and kill some of the flies? I thought to myself, Oh Heavenly Father, is it true, or is not true, that all things, all men, all living things come from You? Even flies? If this is so, and we believe it is, then don't you think a man, even the tenderest-hearted Christian, should not go too far in his interpretation of how to behave nobly in Your eyes? For instance, he could kill the flies, and it would be no harm to anybody. It would be a little trouble for him, but a man could go into the store for ten cents' worth of sugar and not be attacked on all sides by flies. Oh God, we are all lost, ignorant souls, and except for Your wisdom to guide us, we should all die by morning, but don't You think, the price of raisins is just a little bit too low? I'm not saying farmers should get rich. I mean one can't help wondering if they shouldn't earn enough money by the toil of their hands and the sweat of their brows, day after day and month after month, to buy bread for themselves and their families, and shoes for the children, and a little tobacco, and the other necessities of life? Oh, Most Generous Heavenly Father, all things come from You, I know. I was telling my friend Gorgotian about it this afternoon. As You know, he is an unbeliever, but a kind man. He loves music and is generous with

his tobacco, but he doesn't believe. His sons send him money every month, so he always has tobacco, while I, Heavenly Father, sometimes run out of it. He is always glad to ask me in for six or seven cigarettes and a few cups of coffee, after which we tell our fortunes, but he is not a believer and hasn't set foot in any church, Presbyterian or any other kind, in fifteen years. I was telling him this afternoon, Oh God, how all things come from You, and he said something that I hesitate to repeat to You, although of course I'm sure You know about it anyway. He said, All right, Mano, if all things come from God, pray for half a pound of Izmir tobacco and we'll have enough for a week. Well, of course, Oh Heavenly Father, I knew he was a good man. Otherwise, I would have been offended. I don't think you could find a nicer fellow in the whole Armenian neighborhood, but as I say, Oh God, he doesn't believe. There are surely others and You no doubt know them each by name, but they are most likely not as honest as he is. But Gorgotian isn't what I came to speak of. Like myself, he's passed seventy and in twenty or thirty years he'll be dead, but, Oh God, what about these kids growing up all around us? Don't you think their parents ought to take more pains with them? Of course everybody is busy in the summer working in the packing-house, but even so, don't You think the mothers ought to spend at least a half hour every evening teaching the kids how to speak Armenian? Dozens of them can't answer a simple question, except in English, which I don't understand. And about this war

in Europe, Oh God, don't You think it's about time everybody stopped? Don't You think they've killed enough innocent young men already?

On the theme of war, and in this intimate manner, the old man would pray for at least forty minutes, sometimes an hour. The preacher of the church was not exactly pleased with this confidential kind of worship and one day said to the old man. It is good to pray, but perhaps you could be briefer.

How? the old man asked sincerely.

Well, said the preacher, when you come to big things like the War, pass over them quickly. Don't try to solve every problem in the world in every prayer you make.

No, the old man replied, that is impossible. If you insist that I shall not pray at all, then of course I shall not pray at all. But if I am to pray, you shall have to let me pray as I must. Prayer is an ocean which grows larger and larger as one swims in it.

So this wonderful old Christian was allowed to swim in the beautiful ocean of prayer every Wednesday night until finally eighteen years later, he died and at last reached the shore, where, no doubt, God was waiting impatiently for him, so that they could talk everything over carefully, point by point.

XX

*The Severe but Instructive Words that were Said
to the Poor Man Who was under the Impression
that Being Poor Entitled Him Also to be Slovenly,
Which Even a Couple of Centuries Ago
was Regarded as Nonsense*



A man who was always unwashed, his nose always running, his eyes unclean, his breath foul, was asked why he was so slovenly.

I am a poor man, he replied.

All right, he was told; clean your nose and still be a poor man.

XXI

*What the Man Who Was Sometimes Crazy but Always
a Democrat Said to the Young King Who
was Sometimes Bored but Always Willing to Learn*



There was once a crazy man who sometimes wasn't crazy. One day when he wasn't crazy he went to a near by city where he soon made friends with some of the people of the streets. One of these was the young king himself who had dressed himself as a beggar in order to escape some of the imprisonment of being always the most important man in the nation.

The beggar went to the man who was sometimes crazy and said, Have pity on me.

The crazy man said, That is impossible, since you have already monopolized that privilege. One may pity only the strong who do not know that they are as weak as the weakest.

If you will not pity me, the king said, give me a coin, so that I may eat.

The crazy man brought half a loaf of bread from his coat pocket. In the bread was cheese.

A given coin would place you in my debt, he said, and no man should humiliate himself by owing another a debt of money. I invite you to be my guest. Although there is no table, the day is pleasant.

He handed the king the half-loaf. The king was now a little confused, but even though he usually ate much fancier food he bit into the bread and cheese, hoping that it would not be torture to eat such ordinary food. Instead of torture, it was delight.

If I am your guest, the king said, you must eat with me.

And although it seemed he had never before wanted food as much as he now wanted this bread and cheese, he broke the half-loaf in half and offered the largest half to the crazy man, who took the offer and said, You are no longer a beggar.

Why? asked the king.

Because, said the crazy man, I believe all who live are one. You are regarded, I believe, as a beggar. I say that you are a king.

The king, who was young and pleased with the crazy man's words, cast off his beggar's robes and revealed himself to be the king.

You do not know how truthfully you have spoken, he said. I am *truly* the king.

The crazy man looked at the young man a moment and then became crazy again.

You are mistaken, he said. You are a beggar.

For a moment the king was so angry and offended he could not speak and thought of having the crazy man severely punished, but little by little he began to

understand the meaning of what the man had said. He put on the beggar's robes again and began to munch the bread and cheese happily, as a human being.

This is good bread and good cheese, he said. I am fortunate to be alive, to breathe the scent of growing things, and to quench thirst with cool water. That is enough.

You are a king, said the crazy man and strolled on down the street.

XXII

*How Difficult it is for a Man to Enjoy Living
if His Wife is Socially Ambitious and Goes Around
Telling Fantastic Lies About His Clairvoyant Powers,
and How One Poor Cobbler Got Out
of the Awful Mess*



An ambitious wife whose husband was a simple cobbler became envious of the fame of the wives of wise men and went about saying that some men might be wise, but the wisest, the most all-knowing of all, was *her* husband Musa.

A woman said, I have lost my bracelet, which is old and priceless; bring your husband to me, so that he may tell me where it is.

The poor husband was taken to the wealthy lady and stood before her embarrassed, bewildered, and stupefied. Not knowing what to say, he thought he might praise the tassels of her coat, and did so. The wealthy lady touched the tassels and beneath them found the lost bracelet.

This is truly the wisest, she said to the man's wife, and gave the man much money.

A wise man from India came to the city and said, I shall speak without words to the wisest of your wise men and we shall see if he can answer me.

Again the poor cobbler was sent for; on the way he found an onion which he placed in his pocket.

The wise man from India drew a circle on a blackboard with a piece of chalk; the simple cobbler thought, That is a watermelon. He drew a line through the middle, thinking, Half for him and half for me.

The wise man of India was satisfied and much impressed.

Out of his pocket he placed an egg on the table. The cobbler said, That is half a breakfast; with the onion it will be a whole breakfast. He placed the onion beside the egg, and the wise man from India was amazed again.

The wise man next brought out his fist and placed it before the cobbler. This was altogether too much and the poor cobbler who was terrified, began to curse his wife. Her name was Rose.

Rose, he said. Rose.

The wise man jumped and said, It is true; he is the wisest of the wise. I drew the world, and he drew the *dividing line* through it. I placed the egg on the table, as symbol of the earth; and he placed the onion beside it, showing that the earth is made layer on layer. I placed my clenched fist before him, in the dead of winter, asking him to tell me what is in it, and he replied that it was a rose.

The wise man opened his fist and tossed a rose on the table.

This man is truly the wisest, he said.

The simple cobbler became very famous for his wisdom. The King was robbed of fabulous wealth, called the cobbler to him, and said, You know all things. You know who the thieves are; tell me or I shall know *you* are one of them. I shall give you forty days in which to tell me who the thieves are, and where my stolen wealth is.

Very well, the poor cobbler said, and went home.

He told his wife what had happened.

Inasmuch as I have only forty days to live and cannot count, he said, please place forty dates in a jar so that each evening I may eat one, and when they are all gone I shall know my time is up.

The thieves also knew of his fame and were curious to know what was going on at his home, so they sent a man to climb onto his roof and keep watch. The man was on the roof when the cobbler took the jar and dropped one of the dates into his hand, saying, The *first* has come.

The thief said, Yes, he knows everything; and began to go; and the cobbler, placing the date in his mouth said, And the *first* has gone. And the thief also believed that the cobbler was truly wise.

The thief returned and told the other thieves, of whom there were forty in all, what had happened. They were of course very much upset and fearful; and yet they wished to verify the one thief's story, so the

next day they sent another man with him to the roof of the cobbler.

The cobbler went to the date jar, dropped another into his hand and said, *Two* have come; the thieves turned to go; the cobbler tossed the date into his mouth, and said, *Two* have gone.

The two thieves returned and told their story. The next day they sent *three* and of course the cobbler spoke the third; in all they sent thirty-nine, and the cobbler believed the next day he would be dead, but the thieves came down from the roof and begged for mercy.

You know everything, they told the cobbler; we will return the King's wealth, and ten times more that we have stolen from others, if you will only ask him to spare our lives.

I will, the cobbler said; where is the wealth hidden?

You know, the thieves said; why do you play at games? It is on the hill at the foot of the third tree, on the road to Teheran.

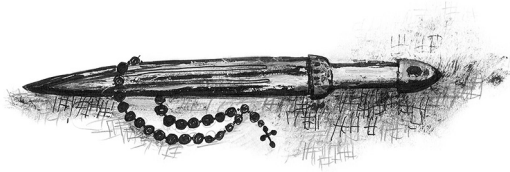
The cobbler went to the King, told his story, the wealth was unearthed, the thieves were set free, and the cobbler was given much wealth himself.

He took the wealth and hurried away to another city, leaving his wife, knowing that the next time he faced a problem, he would not have the good luck he had been having. His wife married a bookkeeper with social ambitions. The cobbler didn't gamble his money or throw it away on loose women or anything like that;

he just hid it in a hill somewhere and opened another cobbler's shop in the far-away city because he knew how to mend and make shoes and liked the work and enjoyed sleeping at night. For three centuries nobody found the wealth; then three centuries more went by; then the language of the people changed; another century went by; the cobbler had been dead all this time and nobody knew where the wealth was, so it just stayed there, and harmed no one.

XXIII

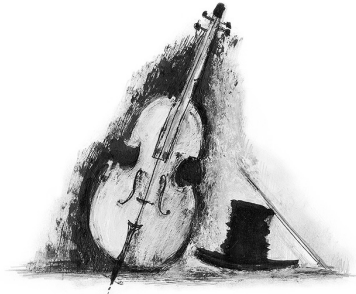
*What the Priest Said
to the Assassin
Who Had Broken the Standard
Rules for Inhuman
Behavior*



The Priest turned to the man who had stabbed him in the back, studied his face carefully, and dying, said, Why do you kill me? I have never done you a kindness.

XXIV

*How the Hair of Women is Long, the Understanding
Short, and What a Ghastly Lack
of Appreciation There is in Them For Genius*



A man had a cello with one string over which he drew the bow for hours at a time, holding his finger in one place. His wife endured this noise for seven months, waiting patiently for the man to either die of boredom or destroy the instrument. Inasmuch as neither of these desirable things happened, however, one night she said, in a very quiet voice, too, you, may be sure: I have observed that when others play that magnificent instrument, there are four strings over which to draw the bow, and the players move their fingers about continuously. The man stopped playing a moment, looked at his wife wisely, shook his head, and said, You are a woman. Your hair is long, your understanding short. Of course the others move their fingers about constantly. They are looking for the place. I've found it.

XXV

The Problem of the Unhappy Little Boy Whose Father Regarded Him as a Child, Instead of a Personality, Little Suspecting that Anybody Capable of Knowing Sorrow is Ageless and Will Therefore Refuse to Have a Wounded Heart Healed by a Kewpie Doll



An unhappy boy, visiting the home of his father's friend, was given a toy sword and a toy pistol to drive away his sorrow. The boy raced about house, destroying enemies of many kids and making so much noise that it was impossible for his father and his father's friend to talk to one another, which they wanted very much to do. The father asked the boy to quiet down a little if possible. It was not, however, completely possible, so that, beginning quietly, the small boy gradually returned to his loud slaughtering of the enemy, and was again asked to quiet down. Same result. Quiet for a moment, noisier than ever after a moment. Another request. Same result. Finally, the father, who had heard

that severity is a good thing sometimes with children, not realizing that his son was not children, but a *personality*, a real person, snatched the toy sword and the toy pistol away from the boy and put them out of reach. This irritated the boy, and was definitely something to cry about, which he did with great power and some beautiful losing of breath and so on. This, of course, was still worse than the battle racket.

Oh, give him back his toys, the father's friend suggested.

No, the father said.

Please do, the other said. How the poor boy cries. My goodness, he is truly brokenhearted.

No, the father said. I shall not capitulate this time. I came to talk with you.

Oh, give his sword and his gun and let the boy destroy the world as he wishes, the friend said.

Well, all right, then, the father said.

He offered the toys to the boy, but now the boy had no use for them. This irritated his father very much.

Here, he said. Here is your sword. Here is your gun. Fire away. Cut away.

No, the boy said.

He began to cry worse than ever.

The friend decided to help out, if possible. The boy was standing at the window, with his back turned, sobbing tragically. Six years ago the friend had gone to a carnival and had tried to win a pearl-handled automatic revolver, but instead had won a kewpie doll. It was made of chalk and was the most ridiculous image imaginable, neither human nor anything else.

An absurdity. For some reason he had decided, however, to keep the thing on the chance that it might come in handy some day somehow.

The time, apparently, had come.

He hurried to the closet in which he kept all the debris that accumulates over the years, and brought out the kewpie. He hurried to the crying boy and said, Please do not cry any more. If you will stop crying, you may have *this*. Here the friend brought the kewpie from behind him and thrust it out to the boy. The boy took the ridiculous doll and stopped crying. For fully two minutes he studied the doll in absolute silence, while his father and the friend studied *him*. The tears dried on his cheeks, he looked up critically at his father and his father's friend and, in the most powerful Armenian in the world he said simply, I'll take it home and break it.

XXVI

*My Grandmother Lucy's Magnificent Parable
of the Three Instructions, and How They Brought
the Half Wit Husband Home to His Utterly
Unattractive Wife After Eighteen Long Years,
and How I Think He Could Have Used
a Fourth Instruction*



My grandmother Lucy, one Sunday afternoon, told me the story of the husband who sat at home all the time and wouldn't leave the house.

His wife went to a wise man and asked what she should do. The wise man told her to drop a raisin just out of her husband's reach. He would get up, bend down, pick up the raisin, and eat it. Then she was told to drop another raisin, and in this manner to keep her husband moving toward the door, and finally out of the house, which happened.

The wife then shut the door on him and told him to go away and not come back until he had made a lot of money.

The husband stayed away eighteen years.

During these years all he managed to save was three pieces of gold.

It was money, at any rate, so he decided to go home to his wife.

On his way home he found a wise man sitting on the steps of a public building. The wise man was offering, at the rate of one gold piece each, instructions for living.

The poor man thought to himself that three gold pieces was very little money anyway, so he decided to buy one of the instructions. The instruction was:

To the had say not that it is bad.

This was not enough instruction, so the poor man paid a second gold piece for a second one, which was:

In all affairs do not fear water, whether rain, stream, river, lake or sea; dive right in and swim; the good Lord will carry you to safety.

This was only mystifying, so the poor man paid his last gold piece for a third instruction, which was only one word:

Patience.

The poor man thanked the wise man and went on his way. He began to walk across the desert, inasmuch as he had no animal; donkey, horse, or camel. He hadn't walked ten miles when he saw a caravan of camels, with its men in a state of excitement.

It seems there was water in the small desert pool, but the water was out of reach, so that neither the men nor the animals could quench their thirst, and the animals were so tired they couldn't move.

The poor man remembered the wise man's instruction about not fearing water.

He told the men to lower him with a rope and then to lower urns, pitchers, and jars to him; in this way he would furnish them with water.

He did so. He was very happy about having bought the instructions, and when the animals had had all the water they wanted, and the men too, he called up to them to keep on drawing the water. They didn't know why he wanted to go on drawing the water, and asked what they should do with it. He told them to bathe first and after that to bathe the animals and after that to make a stream of the water, which they did.

After a while, as the level of the water sank, the poor man saw a gold door of extraordinary beauty. When the water had descended sufficiently he opened the door and entered the most beautiful room he had ever seen. A throne room. On the seat of the throne was an old man. On one knee of this old man, who was a King, was an enormous warty moist green frog; on the other knee was a coiled fat snake.

It seemed very strange to the poor man that such vile things should be in such a glorious place. The old man lifted his eyes and looked at the poor man.

He said, Welcome to him who has entered where not even eels have entered these hundreds of years.

The poor man was awed by the wealth and splendor of the room, but rather bewildered.

The King said, What are these on my knees?

The poor man remembered the first instruction of the wise man, not to say bad to the bad.

The poor man answered, Youth and strength.

At that instant appeared a multitude of the most handsome strong men the poor man had ever seen; the frog and the snake disappeared.

The King, who had been waiting several centuries for the arrival of such a man as this poor man, was very pleased.

For this, he said, I shall give you anything you wish, anything at all; name it.

The poor man told the King the story of the last eighteen years of his life.

The King gave him gold and jewels, enough for ten Kings, and told the poor man to return to his wife. The poor man purchased the caravan which was five miles long and paid well for it; and then returned to his home.

Before going in he said to himself, I will see if she has been faithful to me.

He climbed the roof, and looking through a crack, saw two beds, his wife's and his own; his wife was in one bed and a man in the other.

This grieved the poor man very much.

His wealth seemed useless now, according to my grandmother. At any rate, he decided to climb down from the roof, kill the man, his wife, and himself.

Then he remembered the third instruction: *Patience*, and decided to lie on the roof looking up at the sky.

After several minutes he heard the man stirring in his bed. The man sat up and said, Mother, I am thirsty.

Just like that.

Then the poor man knew the man was his son.

He got down from the roof just as day was breaking. He knocked at the door. His wife opened the door but didn't recognize him.

I am your husband, he said. You sent me away eighteen years ago and told me not to return until I had wealth. I have returned with wealth.

The wife saw the caravan of hundreds of camels, laden with all manner of wonderful things.

She welcomed her husband home, embraced him, introduced him to his son.

My grandmother thought this was a wonderful story, but to me it was very sad because the woman was no good, and the man was a fool. What sort of an idiot was he anyway? Even in mythology?

XXVII

*The Lovely Thing that Happened
to the Beautiful Step-Daughter Who Was Cemented
into the Tower by the Bad Step-Mother*



My Grandmother told me also the story of the girl and the step-mother, a truly beautiful story.

My grandmother, in all innocence, has gone on telling me this story every year, at least once and often twice, for the past twenty years. The gist of the story is this: that the evil step-mother made the beautiful girl stand in the tower of a magnificent structure and serve as the tower's foundation, while the step-mother mortared stones about the girl, until at last the girl was covered, but not dead. Before she died something happened, in the universe I suppose or in the hearts of all living, and the beautiful girl became swallows, nightingales, and all manner of lovely flying things, which forever after flew about the tower making the saddest and loveliest and most heart-breaking of sounds.

CHANCE
MEETINGS





THIS BOOK IS A GREETING
TO MY CONTEMPORARIES

LIVING IN ARMENIA

AND WRITING IN ARMENIAN:

HRANT MATEVOSIAN, NOVELIST;

VAHAGN DAVITIAN, POET;

LEVON MUGGERDITCHIAN, CRITIC;

RAZMIK DAVOYAN, POET;

SERGO KHANZADIAN, NOVELIST;

MARO MARKARIAN, POET;

AND GRIKOR GOURZADIAN, ASTROPHYSICIST,

PAINTER-PHILOSOPHER.

AND ALSO A GREETING TO ARMENAK SAROYAN,

INFANT GREAT-GRANDSON

OF ARMENAK SAROYAN,

OF BITLIS, 1874 – SAN JOSE, 1911

1



The thing about the people one meets on arrival, upon being born, is that they are the people they *are*, they are not the people any of us, had he indeed had a choice, might be likely to have chosen. These meetings are chance meetings.

Certainly everybody between the age of two years and twelve years has studied such people and questioned their right to be related in any way at all to himself. Himself, the very center of the world, the justification for all time gone, the supreme achievement of the expenditure of all effort, at last a flawless specimen. Both human and superhuman, if only the truth were known.

Are *these* people mine? This preposterous mad woman is my mother? This unbelievable loud-mouth man with the violent eyes is my father? How can such people be my people? There has got to be a very terrible mistake somewhere.

And of course there is.

There is this *same* terrible mistake back of every human being who is not yet thirteen or fourteen years

old. And the mistake sometimes isn't corrected, or at any rate isn't *ignored*, even after the age of thirty. Now and then certain extraordinary people feel the pain of the mistake straight up to the event of death itself.

These astonished and hurt souls are the geniuses, but there are also geniuses who have deeply cherished their parents. And if they haven't both cherished and *loved* them, they have, at any rate, been so amused by them as to have never had any wish to have them out of the way.

And these *happy* geniuses, so to describe them, are frequently the best of the lot.

Mainly, though, geniuses are those who cannot be, or do not *want* to be, delivered from the feeling of being ridiculously involved in one colossal mistake.

It is the impulse, the compulsion, or the *wish*, to try to correct this horrible blunder that drives these people to work and has them bring forth all sorts of forms of improved variations of the original thing – that is, the whole mishmash, the whole universe, if you like, the whole solar system, the whole world, the whole human race, the whole history of error, failure, madness, and death. The whole business of legends, stories, dramas, religions, cities, embracings, buildings, roads, ships, music, dancing, surgery, print, paper, paint, sculpture, you name it, for whatever its name may be, *that* is what genius deals in, and with.

That is what genius wants to make straight, and to put in a bright light, corrected.

Well, of course, this *trying* is all we really have, the rest is even less than this, the rest is really nothing

when the tallying is done, the rest is ash, dust, and the invisible slag heaps of error and loss as big as solar systems.

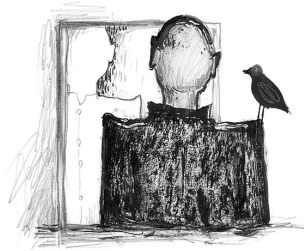
What these geniuses put forward is very little, compared with the potential, or with the original itself, all things already and for billions of years real and in place, but it is the only thing we have that is our own, that *we* have made, and after ourselves, after our continuous putting forward of ourselves, through the procedure invented or given as a gift by nature to *all* continuing things, after our most astonishing falling in with the procedure, our successful recreation of ourselves over billions of years, in all of our various forms, these things, this *art*, made by our madmen, our disgruntled boys, our violent girls, our geniuses, our refusers, our frequently sick boys and girls, these homemade things are all that we have, all that we call culture, civilization, and mortal glory.

Every man is correct in asking God why he is stuck with himself, and his rotten luck.

If he wasn't permitted to choose his parents, he should certainly have been permitted to choose the people he must have to deal with during his life, but this also is denied him.

He can neither choose his parents, nor choose not to be drafted into the Army, even, for instance.

2



Every person in the world has a favorite person, and if he is a sensible person, or a lucky one, his favorite person is himself, even if he doesn't know that this is so, or knows it and pretends he doesn't, or swears on a stack of Bibles that it isn't so, because his favorite person is, Jesus, for instance.

But it is also possible that there are very smart people, very intelligent people, very wise in the mystic ways of the mind and soul, and hip to the tricks of the inner man, and it is also possible that these people, either in addition to being their own favorites, or *instead* of, have a great kinship with somebody else.

Sometimes it is an animal, even, which of course to them *is* somebody else.

Well, just who is a dog? Well, a dog is the *owner*, is he not? And the cat, who is the cat? Also, the owner. And the canary, who is the canary? Also, the owner. So again his favorite is himself, as D. H. Lawrence suggested long ago.

And how about the strange people whose pets are boa constrictors? It is the same with them, too.

And how about the people who have a child, or two children, or three, or four, or eight, or twelve? Who are *those* people, and who are their children?

Well, again it is the same, although with the children it is drawing nearer to what goes on in the human experience in relation to approval, acceptance, admiration of one person by another.

He is his own worst enemy, as they say, or, he is his own best friend.

Variations of these remarks are spoken all the time, suggesting that nobody is really fully integrated, and that one side quarrels with another, except in the case of the person who is enchanted with himself, whereupon everything is quite nice all around, as far as it goes.

Well, how far *does* it go?

The person who approves of himself, does he also approve of his father, mother, brother, sister, neighbor, friend, and the human race in general?

Yes, he does, sometimes, for in some approvers there is a force of energy that keeps moving out to everybody else.

But on the whole, the person who thinks very highly of himself, and is not really very much in any *real* sense, is liable to find fault with everybody else, and with the whole world, and with the whole human race in it.

Why?

Well, finding fault supports this approval of himself, this admiration for himself. When he carefully considers the genius of a great scientist, he decides

that the man's achievement is actually an achievement of publicity, patronage, and favoritism, which compels him not to give up one iota of his admiration for himself.

Still, while self-approval thus is seen to be more often than not the mark of the nitwit, the fact remains that it is both desirable and necessary for every man in the world not to have contempt for himself, unless it is for the amusement of his friends, an act, a performance, and in reality a kind of superapproval of himself.

For if a man actually does not find it possible to regard himself at least with courtesy, he must be a rotter, and he must know it, and this places upon him the choice between ceasing to be a rotter so that he can have a courteous relationship with himself, and therefore with his parents, his tribe, and the rest of the human race, or choosing quite simply to cease to be, at all.

He can stop the rotter by a living effort, or he can stop him by killing him. It's as simple as that.

He can't be both and not be phony. But how amusing a phony can sometimes be, just so the phony doesn't happen to be your wife, for instance.

3



Most of all I cherish having met the two people I had the good luck of meeting in the only way in which a meeting may be truly considered a meeting: my son Aram two hours after his birth in New York on Saturday September 25, 1943, and my daughter Lucy four hours after her birth in San Francisco on Friday January 17, 1946.

Now, when you see a newborn human being, a new life, as one might put it, and it is somewhat intimately related to yourself, you are in fact seeing *something*, you are in fact meeting *somebody*, and inexperienced as I was when I first saw and met my son, I thought, “But this fellow’s *old*, he’s older than any old man I’ve ever seen.”

And he seemed to be so intensely outraged that I thought, “Ah, he doesn’t like this at all, he doesn’t like being in that little body, he liked it better where he had been. He’s angry at his mother, his father, the human race, and everything else, because they’ve all

ganged up on him and put him into that little body instead of letting him be everywhere, where he had been for so long.”

And of course there is a *little* truth to this sort of thinking, because there is a little truth to *any* sort.

Soon enough, however, I began to meet him, when, even before he was a week old, he *wasn't* mad at me or anybody else. And I'm glad I *did* meet him, for such a meeting, a man meeting his son, even though even genetically it is now established that a son tends to inherit the character not of his father but rather of his father's mother's father's brother's son or something even more absurd and complicated than that—for such a meeting is a rather amazing event involving centuries of all manner of small and large accidents.

All the same, having had the first intimate connection with his arrival, the newcomer is both legally and physically indentified as being my son, and I was glad that he was, disregarding his own seeming annoyance, anger, outrage, which I was happy to notice had soon become a kind of secret amusement.

He was there. I met him soon after he arrived there. He was moving, he would grow, he would change, he would be a lot of trouble not so much to others as to himself, and so the Saroyan family would move along, the human race would keep going, both in faith and in ignorance, neither quite total.

And so it was. He fought it out and fought it out. He met a girl and married her and they have a daughter of themselves, so to put it. A poem about

this child that my son published in the *Paris Review* in 1972 pleases me:

*little
is what
she is.*

I like that. I like him. I like his wife. I especially like their daughter.

I met her when she was four months old. She was as serene as a sage. I liked that.

I am really glad I met my son.

And I am glad I met my daughter. But if I was confused by my son's appearance and attitude soon after he arrived, I was really surprised by my daughter's. As I told her when she began to ask about such things, when I first saw her, her face was all lopsided, perhaps because of the usage of certain birth-assisting metal instruments by the obstetrician.

Who knows? I certainly don't. When she was seven or eight years old, I told my daughter about herself at birth. She had been so ugly that, after pretending I was thrilled to see her, and walking down the hall at the Children's Hospital in San Francisco I thought, "Ah well, I guess she'll have a great mind, then. And perhaps be a writer."

After meeting your father and mother, meeting your son and daughter is the rounding out of that part of the human experience.

4



All living things have faces: lions, elephants, camels, whales, sharks, cows, sheep, frogs, tadpoles, eagles, tigers, antelope, canaries, mosquitoes, worms, butterflies, cats, mice, bats, dogs, and horses, to name only a haphazard few.

Well, the thing about people is that they frequently wear the faces that the other living things wear. Sometimes they even wear the faces of things that are *not* even members of the animal family. Everybody has seen somebody with a face that seems to be an apple, for instance.

In the human face the eyes are supreme, or so they say, but such sayings are now and then not quite supported by the facts. There are toads in which the eyes are too big to be readily acceptable, although all seemingly unacceptable things are soon seen to be not only acceptable but pleasing, for the simple reason that these things have been studied in relation to the whole

creature, and in a toad pop eyes are quite appropriate, if not quite instantly appealing. But of course they are not appropriate in people, where they also occur.

The nose has a certain kind of importance in the matter of identity, for any man with a large nose has got to live accordingly, and we all know the touching story of Cyrano, as written by Edmund Rostand, who is said to have been an Armenian.

Who said so?

Several Armenians did, and with pride, too, adding, "Who else but an Armenian would write a play about a man with a big nose? No, sir, don't dispute the truth, Edmund Rostand is an Armenian, and if you insist I will explain how the name was made acceptable to France. Yedvard Rostomian, *that* was his name, or something *like* that, and with the wisdom of his race he changed it to Edmund Rostand, let us be pleased about this and not say he should never have changed his name."

There are many kinds of noses, and the people who have noses that are not quite perfect are forever regretting it, and thinking poorly of their parents, or at least of one of them. But even noses change. A nose like a spear in youth, in middle age becomes something more like a shield, and in old age a little bit of a thing that looks like a button.

At the outset I am proud to report two things: one, that I have a nose that was very nearly perfect from the beginning, and Roman, in the classic sense, but was broken when struck by a baseball bat before I was eleven, broken again when I was twenty-two, and

again when I was forty-four—the last two times in minor automobile accidents.

And twice the nose has been the object of surgical attention, both times by idiots who should have been rug peddlers, since the making of money was what they were really interested in.

And two, I am proud to report that like Edmund Rostand himself I am an Armenian. Again and again it is good to get such things clear at the outset. Therefore, the reader is invited to study his nose and to name his nationality.

5



I like to go out every day and find a story. Well, it's not quite that cut and dried, and if the truth is told I don't like to go out every day and find a story at all. I only like to go out, to go out. I can stay in and *choose* a story from out of a possible ten thousand stories always in my head, eyes, ears, nose, and throat.

If it is time to write, you have already *been* out, you have already found a story, at least one for every day of your life, possibly two, three, or four. Perhaps even a dozen stories for every day.

What is a story?

It's a writer with his mind made up to tell a story. To remember something, or to invent something. (It comes to the same thing.)

But something happened when I went out at three in the afternoon of the day after Easter.

I found my way up to Trinité and walked the full interior length of that old church.

I passed a businessman standing in a small alcove, staring at a hundred lighted candles. I couldn't even

begin to guess what might be eating him, why he was standing there that way.

And last night I read the last chapter of *The Red and the Black* by Stendhal. In that chapter there was a lot of going to church and a lot of lighting of candles, but, then, that was in 1830, and this is 1972. What was a plain ordinary Paris businessman doing in Trinité, standing in front of burning candles, staring, and possibly even praying?

The fact is I found the whole situation in *The Red and the Black* just a little overearnest, and rather laughable, if the truth is told. And yet the book is considered both a classic and a monumental achievement.

Everybody in the story takes himself, and his ambition, and his busy little conniving mind, very seriously. The hero is a fatuous little bore.

I can't understand how he has won the sympathy of so many people for so long. They *do* identify with him, I understand, and when he goes to the guillotine for having fired two shots at a woman in a church, this very woman (who has been visiting him in jail and is madly in love with him) goes to his wife, who by law is in possession of his body and his severed head. She finds the wife kissing the lips of the head, an activity altogether out of order, very silly, and no proof at all of passion, love, helplessness, sorrow, despair, or even derangement—it's just a little bit of writing of some kind.

How long is the church going to have this hold over strange, unhappy, deceived, perfectly ordinary people—in novels, and out of them?

Well, after the short walk through Trinit, I went up Avenue Clichy past the Casino where Zizi Jeanmaire, the long-legged dancer, is the star—but in her theatre photographs she looks different, not the way she looked at a party in Hollywood twenty years ago. At the party she looked young and alive, but now it is all art, effort, control, and things like that.

Dogs everywhere, on leashes, tugging their people across streets to reach other dogs.

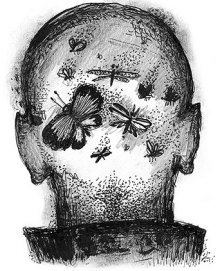
And so, up I went to the dealer in antiques on Rue Moncey to look into his window. Deadly, dear junk left orphan by the sudden death of the adoring owner, and now only for sale.

But where's the story I had gone out to find?

I was walking along Boulevard de Clichy, which divides the sex shops of Pigalle, when a man looking like a beaver came up quickly and said, "Vannik Vannikian from Beirut, I am a sculptor, I admire Henry Moore."

We stood and talked for five minutes, and *that's* the story, folks, let us please not make any more of it than that.

6



I am puzzled by the people I once met, then forgot. And not *all* of them were met at parties, either.

The fact is I didn't go to a party until I was well along into adult life, as I believe it is put.

After my first book was published, one of the richest men in San Francisco, at the Family Club, where I was the haphazard guest of an architect, standing beside me, passing water into a porcelain work of sculpture, said joyfully, "Now, sir, where have you been all this time?"

For he did in fact believe that it was my fault that I had not met *him*, rich and famous and about sixty-six years old to my twenty-six.

So what did I reply?

Well, I don't remember, but I know it was nothing clever, nothing at all proper or appropriate, and nothing to put him in his place, which he was quite neatly in, in any case.

I probably mumbled something like, "Oh, here and there," or, "Oh, out at 348 Carl Street, you know," or,

“Away,” which in a sense would have been true, for any man who puts in the required apprenticeship to become a professional writer must virtually take himself out of, and away from, all potential intrusions and instant distractions. One distraction would certainly have been hobnobbing with the rich, such as that old boy at the pissoire of the Family Club in San Francisco.

I never saw him again, although he went on another ten or twelve years. And I am still running into people I met for a moment ten years ago, or twenty, or thirty, or even forty or fifty. In other words, he’s dead, but we did once stand side by side and pass water and words.

I suppose I feel sorry for the people I met but didn’t *remember* because unless we remember people, they don’t exist, and if anybody I have met doesn’t exist, this is a terrible loss—to *me*, never mind what it may be, or not be, to him.

At the Aviation Club on the Champs-Elysees in 1959 I met a whole slew of gamblers, hustlers, hangers-on, con men, pimps, underworld characters, detectives, Corsican casino workers, Armenians, American blacks, African blacks, Asians, and a good variety of all-around international mothers.

I loaned money to anybody who put the bite on me, but not one man came back of his own free will and paid the debt after he had gambled and won.

Now and then when I insisted on reminding such a gambler of the loan I had just made, he sometimes affected astonishment with himself for having such a weak memory and quickly paid back the loan.

But sometimes he asked was it one thousand francs I had loaned or was it *two* thousand, and when I said it was one *hundred* thousand, he said I must be mistaken, it was one thousand and he offered the appropriate piece of paper marked 1,000, which of course I told him to keep.

He sometimes said he had not borrowed from me, he had borrowed from Mr. Hestatin of Holland, he never borrowed from anybody excepting Mr. Hestatin of Holland, how could he have borrowed from me? And as for me, I had never heard of Mr. Hestatin, and to this day do not know if I have got even the spelling of his name right.

The reminded borrower sometimes paid the precise amount borrowed on demand, but he did so with such alacrity that I was *thereby* informed unmistakably that he had no time for a man who having made a small loan insisted on having it back, as if it were a law of some kind—if a law, then very well, here is a full *compliance* with that stingy, cheap, nagging law.

He sometimes said he would pay his debt but not now, for it was bad luck to pay a debt while he was winning. And then after another hour or two, after he had gone broke again, he did not consider it bad luck to come and ask if I would be so kind as to lend him another one hundred thousand francs—and walked away annoyed when I confessed that now I was broke, too. In short, by walking away he was letting me know that only a fool would lose his own money in a Corsican gambling house. And he had no time for fools.

I have forgotten people like these all my life, but as we see I have *not* forgotten them totally. I remember them as vague and dismal pieces of comic human behavior, and I feel sorry for them because they don't have faces.

7



Somebody is always telling somebody else to start at the beginning, and to tell precisely what happened without any ornamentation or elaboration, as if such things are ever *not* part of *exactly* what happened, especially in legal disputes.

And some lawyer who has gone to school tells a kind of poet who hasn't gone to school, "Now, Mr. Tutunjian, just tell us in your own words what happened on the morning of January 1st, 1919, when you got up in your house at 248 L Street between San Benito and Santa Clara Streets, at four minutes after four in the morning, and smelled smoke, what did you think, what did you do, just tell us *that*, and nothing more." Whereupon the poet looks around in desperation as if to ask, "For God's sake, where did this lawyer come from? Everybody tells me to go to Mr. Chickenhawk, so I go to Mr. Chickenhawk instead of to our own Khoren Kuyumjian, and this American lawyer tells everything, then he tells me to tell what he has just told, but he tells me to tell it in my own words, which are now not my own words at all, they are his."

Well, having had a lawyer in the family, Aram of Bitlis, I now and then heard about a case in court, and about the strange behavior of witnesses, of opposing lawyers, of judges, of members of juries. Thus, it was soon impossible not to notice that while everybody was obsessed with the idea of getting things straight, that was impossible. It *never* worked that way.

In fact the harder everybody tried to get things straight, the more things became entangled, impelling one Armenian who had lost a case in court to remark, "Well, it is now a matter of the knife."

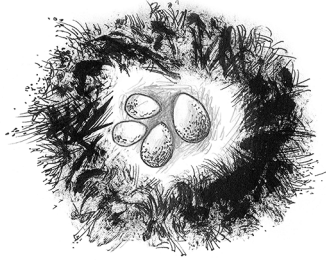
But the idea is a good one. If it is possible to get something straight, that is a desirable thing.

Even more important than clarity in the *statement* of what happened, however, is clarity about the happening itself, which is not really possible, and the reason history is hilarious.

Even when an event has simplicity, the giving of an accurate account of it is very difficult, and your house on fire isn't anything at all like a simple event, but then nothing *really* is.

Mr. Tutunjian had been accused of arson, but his lawyer, Mr. Chickenhawk, had got him acquitted and was proud of that fact, considering he himself was never quite sure his client hadn't set fire to his house, but probably only as a consequence of having had in mind setting fire to the insurance company, in retaliation for not being honest with poetic illiterates.

8



The ragtag, bobtail, odds and ends of people known for a short time linger in the memory, and this has always seemed to me an indication of the unaccountableness of identity, and of the action of mind and memory in a given conglomerate, which is a person.

For instance, I have never been able to understand the basis of memory's selectivity, if in fact memory may be said to have such a basis, if it is not all of it pretty much whimsical and possibly even mischievous.

The reality of the people very near in one's life — the family, in short—is a large reality, so of course one understandably remembers *them*.

But what about the stragglers everywhere and all the time, from the very beginning of one's memory?

Why is one straggler remembered and another forgotten?

There was a boy at Emerson School in the second grade who had a name that struck me as exceptional: Fay.

This boy now and then fell in beside me in the school grounds during recess, and without so much as saying a word began to be a friend.

He belonged to one or another of the Anglo-Saxon peoples, very poor, very earnest, and very decent.

One Saturday he came from wherever he lived to Armenian Town and found me in the empty lot next to the house at 2226 San Benito Avenue.

“I know where there’s a catfish,” he said softly. Well, now, it must be understood that fish and game of any kind are goals of pursuit in the minds of all small boys: birds, rabbits, snakes, fish, anything alive, beautiful, and moving, capable of eluding capture, anything compelling pursuit but never willingly submitting to capture.

I say *willingly* because at Vahan Minasian’s peach and apricot orchard called “Glorietta,” a little northwest of Roeding Park, I had frequently climbed a step-ladder very quietly to the nest in which sat a cooing dove, all soft and gray and beautiful—a magnificent achievement of form, design, and utility: a bird.

And I wanted to experience some of that magnificence.

I did not want to harm the bird, or to capture it as something to keep, or to cook and eat it, but I did want to reach out and touch it, and I felt that the bird ought not to resist that gesture. But invariably the bird *did*, and took to explosive, noisy flight, leaving four absolutely beautiful little eggs in the perfectly shaped bowl of the nest. And of course the eggs were *not* touched, for I had heard that once touched the mother dove would not, *could* not, accept them. This was puzzling, and even then not really believable, but on the chance that it might be true, I never touched the eggs or took them, as many kids did, for collections they were making.

I only wanted the bird to know I was a friend, and the next evening when I climbed the stepladder again, I hoped that it would *know* I was a friend and not overdramatize the situation by taking off with a lot of crazy speed and wing-clatter.

But my plan never worked and I learned my lesson. Birds don't traffic with people. Birds and people *see* one another but they don't share one another.

All the same there is a rather famous photograph of Grey of Fallodon with a small bird perched on his head. Coming out of the sky, this little thing had made a friend of the old man who had become almost blind, and the old man was very proud to have been chosen by the little bird. Such things *also* happen.

I said, "Where is the catfish?"

"Back of Sun Maid."

This meant back of the raisin packing house, about a mile south by east.

We walked, talking quietly as we went, but I don't remember anything we said, although I am sure I asked a lot of questions about the details of the situation, which I soon saw for myself.

A ditch was going dry, and there were in fact fish of several kinds in the larger ponds of the ditch.

We *saw* the catfish, with its cat's whiskers, but we didn't catch it, wading after it and suddenly lunging for it. We were in that tree-shaded place about an hour, and I have never forgotten it.

That's all. But why did memory choose to preserve this event and not to preserve so many others?

9



Have I ever known anybody who was an absolute delight to know? Well, no. And one questions if it is in fact in the nature of things for such a person to *exist*, in anything like an enduring way.

My daughter, however, before she was sixteen, and especially before she was six, absolutely stunned me every day by the simple beauty and sweetness of her truth.

I won't go into detail and try to explain it, because it can't be done, but I will say that she seemed to be outside the human race, a member of another race, and of course we know that such a thing is not possible.

But she was somebody else, as the saying is.

Her very breathing was something else. Breathing the same air, when *she* breathed it, the air became different. And it did different things for her than air does for others. Her voice, for instance, was beyond the human range. It was soft, and so extraordinarily moving that upon hearing it one didn't know what to do about

it, to show one's total devotion to it, whatever it was that had made it so much another order of voice, so much another order of usage of human breath.

And even when this little body, containing the unknown and unknowable person who was both already totally real and being made slightly different every day and every *instant* of every day, was suddenly outraged by some kind of betrayal or unkindness directed upon herself by somebody else, a brother two years her senior, for instance, and the little body breathed more deeply and more quickly in order to shout red outrage, her voice was suddenly the voice of somebody who obviously *was* in the human family, but only apparently by some lucky mistake—lucky, that is, for the rest of us, especially me, the father.

Shouting threats and maledictions at the offender against her truth, the little girl was still an absolute delight, and I used to marvel at the mystery of the whole thing.

How does such a thing happen? Well, if we don't know, it really doesn't matter too much, because in any case whatever it is that has happened, it fades away of itself, and behold, there before you suddenly stands a young lady of the world, of the real world, as they say. Of the real real real world, might be a fuller and more accurate way of putting it.

What happens to kids?

For I *am* implying that something of what I noticed in my daughter when she was very little must surely be noticed by other fathers in *their* daughters, and

then the whole magical thing wisps away as if it were the flawless cosmology of a dandelion broken. The little pieces forming the miraculous circle of eternity lightly disengage themselves from one another, the design softly breaks, and that's the end of that part of the life and story of another little girl.

The thing that probably happens is the thing that has troubled so many poets who had a lot of talent but not much sense: the inevitable.

And this inevitable thing is certainly commonplace enough to deserve every bit of respect and concern that can be bestowed upon it.

Something like a leap of a billion years of accumulated experience takes place in the tiny body of a new arrival from outer space, so to put it.

She is now here, in person, totally, but she does not have the slightest memory of that other place, or *way*, or truth. And she does not have one piece of behavior from then and there, excepting possibly a low soft late afternoon sigh.

Yes, my little daughter was a delight to know, just as my little son was a fascination. Until each became a full member of the human race, by choice, by practice, by experience, by pose, by purpose, by fate, by law.

Well, of course, that is how it is done, how the world is kept alive, and how the human race remains human, and stupid—but also inexhaustibly charming in its folly, muddleheadedness, and pomposity.

Well, anybody else? A daughter and a son, *that's* more or less to be expected.

Anybody else, especially strangers?

Well, there *have* been many people known to me for only a very short time who might be said to have been altogether delightful—but the trick of it is that such people *were* known only a very short time. They weren't really who they seemed to be. They were fantastic and delightful for only *that* moment.

10



I was especially concerned about noticing carefully people who did things like draw or paint, for it seemed to me that they were using a language which I was not sure wasn't better than the language of words.

If somebody could play a musical instrument, I was absolutely astonished and filled with admiration, even if the instrument was only a ten-cent harmonica, and the music was "Yankee Doodle."

It followed that I myself was favorably disposed towards trying to make pictures with lines and paints, or music with any kind of instrument I could buy for a dime, for it was out of the question that I would have a dollar to lay out for an authentic Hohner harmonica, for instance, instead of a ten-cent imitation one, made in some kind of madhouse factory in which imitations of *everything* were made for quick sale, quick usage, and quick deterioration.

The pictures I made with lines were frequently pleasant to behold, especially the following day when I had forgotten what I had been trying for.

The painted pictures were also acceptable if I stuck to animals, houses, roads, and smoke, and didn't try to do ideas. I was quite good at making pictures of only colors and masses, which kids really *want* to do but are bullied into not doing by an unspoken admiration by adults for literalness.

Now, anybody knows that there are all kinds of amateur artists in every community in the world. These are people who make things that ordinarily can't be sold, for which there is no real measure by means of which to arrive at a value, and for which there is no demand.

A great artist of this kind in Fresno was a young dark fellow by the name of Sarkis Sumboulian, who used pen and ink in the making of pictures of great heroic castles at the top of great heights and among great roaring clouds. And he put rather good titles to these pictures: *Träumerei*, for instance. And so somebody would say, "What does that mean?" And he would say, "'*Träumerei*' in German means dream."

Sarkis Sumboulian had drawn one more of his dreams. It had been inspired by the music of Schubert, but he himself in his little shack of a house on M Street in Armenian Town, sitting at the table after dinner while the rest of the family read papers or talked, slowly started a pen and ink drawing, and worked steadily for the next two or three hours, until it was finished. In an appropriate place at the bottom of the mighty picture he would write in fine letters: *Träumerei* by Sarkis Sumboulian Fresno December 1918.

At that time he was about twenty years old and out of school. A high school diploma was on the wall

of the parlor in the little house, and he contributed to the family living costs by finding work either in a fruit packinghouse, in a department store, or in an office, doing stuff that anybody can do.

But he was an artist. He was not just *anybody*.

About once a week he finished a new drawing.

The paper cost about a penny a sheet and came in a book of fifty sheets, glued together at the top: after you finished a picture, you separated it from the tablet.

He generally took the picture straight to my father's kid brother Mihran, and together they looked at it for a long time.

Pipe organ pictures, I called them. There was deep in each of them a large bellowing approximation of a sorrowful moan.

Sarkis Sumboulian had a nervous breakdown, but he was *said* to have gone mad. At the age of twenty-four, he left town.

One day Mihran told me, "He's in London. Sarkis Sumboulian is in London, he is drawing pictures in London, he sent me this letter in Armenian."

And that was it. I never found out what finally happened to Sarkis Sumboulian in London, or anywhere else. Maybe he only died.

11



I have frequently *sung* Bitlis, for it is the highland city of my people, and in a sense a nation by itself, in which the three peoples living there side by side felt closer related to one another than to others of their own tribes in other cities: the Armenians, the Kurds, and the Turks.

I place the Armenians first because Bitlis is a part of ancient Armenia. I place the Kurds second because Bitlis has also been a part of the geography of the Kurdish people. And I place the Turks last because they were the last to arrive.

Now, when a great many of the Armenians of Bitlis saw that the future for them in Bitlis was at best only heroic, with violent death almost inevitable, the alternatives were carefully considered—to stay and die Armenian, or to go to America and die old. Many Armenians voted to die old, and went to America: New York, Rhode Island, Massachusetts, Illinois, Michigan, and most of all to California, although there are Armenians in every state of the union, and in all probability in every country of the world.

This is quite a large fact when it is remembered that in 1915 there were scarcely three million Armenians in the world, counting half-Armenians and quarter-Armenians, a kind of counting that Armenians tend to do. It is never imagined that the English, German, Russian, Assyrian, Greek, French, Italian, Irish, Spanish, Portuguese, or American half will be *preferred* by the half-breed over the Armenian.

Now, in singing Bitlis I can only say I have been helpless, for that seems to be the truth.

Whenever I met somebody in Fresno whom I considered especially brilliant I immediately asked him to tell me his city, the city of his people, and more often than not I was told, "We are from Bitlis."

This always pleased me, and I thought, "Another member of the family."

One of the greatest characters in Fresno in the second, third, and fourth decade of this century was a large burly man with a huge open smiling face—the whole *face* smiled, not just the lips and eyes—whose name was Aram Joseph, which means that his full and proper name in Armenian was Aram Hovsepian.

He was one of the better local wrestlers, and was frequently the headliner at the Friday night matches at the Civic Auditorium.

If the matches were fixed, nobody seems to have dared to ask Aram Joseph to lose, for he won every one of his matches. This was wise, for many of the ticket-buyers were Armenians, but not necessarily from Bitlis, for the people of Bitlis don't like to throw money around foolishly. That is something that is done by the less sensible people of Van, Moush, Sassoun, Diranagert, and a dozen other Armenian cities.

Whenever Aram Joseph was scheduled to wrestle, he would hand out two or three dozen free passes to members of his own family, and to a number of other good friends, mostly from Bitlis. He had a blonde appearance, blue eyes, and a kind of early California style of movement: powerful, swift, loud, hearty, generous, and in a street fight deadly.

Selling papers, I saw him one day pick up and heave onto the sidewalk from a small real estate office in which he had a desk three very big Americans, as they were referred to in those days. If one of them got up and didn't run, Aram Joseph gave the poor man a clout with the edge of his hand upon the neck that sent him flying. Three big men, tough guys, the kind of characters who in television westerns these days would be regarded as killers. Aram Joseph ignored all threats upon his life until the moment it appeared to be in operation, whereupon he would take a pistol or a knife from somebody, knock him down and keep the weapon, which under the circumstances he was legally entitled to use upon the would-be assassin, but never did. But he did have a good assortment of weapons.

One day only a few years before he died, Aram Joseph stopped me on Eye Street in Fresno and said, "Willie, I want you to know your father was my teacher in Bitlis. Armenak Saroyan was the best man I have met in this world."

That was one of the proudest moments of my life.

One of the *funniest* was watching Aram Joseph back up a Kissel Kar three blocks on Van Ness Avenue at 60 miles an hour in 1919.

12



On Ninth Avenue in San Francisco between Irving and Judah Streets there used to be a cabinetmaker who lived above his shop. He was called in the old country manner, Barone Gapriel, or Mr. Gapriel. His family name was Jivarian, and he, also, was from Bitlis. He wrote poems.

I asked him how it happened that he took to the writing of poems, since he was a cabinetmaker, and a very good one.

He said, "Well, now, my boy, Mr. William, when I am standing here at my bench, doing my work, my mind does not have very much to do, it is a matter of hand, and eye, so my mind speaks to me, saying things, and pretty soon I listen to my mind. I hear my mind say one word, two words, one line, another line, and so in the evening after work I write down what my mind has told me. That is how it happened."

He was a man of medium height, heavy set, with something about him that suggested the trunk of a large tree. His shoulders were broad, his hands large,

his fingers well shaped and very strong. His eyes had in them a mixture of terrible sorrow and continuous dancing amusement.

His kids were away at college, for that was the one thing he believed was his responsibility to them, to see that they were as well prepared for sensible living as anybody might be: two sons, one daughter. His wife he had found in America, but again she was from the city of Bitlis. Every afternoon around three she took him a brass tray, upon which rested a small cup of Turkish coffee, one piece of lokhoum, and a glass of cold water.

She smiled and said softly, "A moment of refreshment for you, sir."

She left the tray on a clear place of his workbench and went back upstairs, for she knew that when he was in his shop he was an artist, a thinker, and did not want any kind of small talk to intrude on his own cabinet-making and poetry-thinking.

Now, in those days there was a famine in the land, one might say in the manner of the writers of the Old Testament. There was certainly a shortage of money, and many poor families became poorer. All the same, they managed to sit down to hearty meals of very simple and very inexpensive fare, including my own family, in the second floor flat at 348 Carl Street, about eight blocks from the shop of Barone Gapriel Jivarian. I was twenty-two years old and felt just slightly desperate about not having a steady job. Also, about not having become a published writer, although I worked at writing every day, and pretty much also every night.

Thus, being without income and therefore also without cash, I did a lot of walking, and a lot of wa-

ter drinking, until suppertime, when great mounds of bulghour pilaf cooked with cut-up brown onions was heaped upon plates, so that my brother and I could eat heartily if not elegantly, so to put it.

I loved the stuff, and I still do. And long after I was rich, I frequently asked somebody to cook a big pot of it for me, or I asked a chef at a restaurant to make a special big pot of it for the following day. And finally I myself learned how to fix the dish, and so I have it whenever I want it, wherever I happen to be.

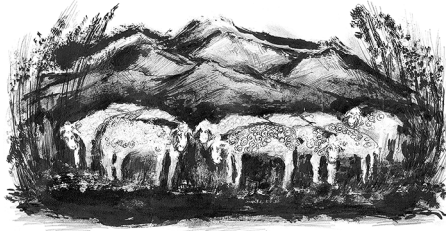
On my walks I frequently passed the cabinetmaker's shop, and once or twice he saw me and waved at me to come in, whereupon he would say, "Well, now, you're just the man I want to see, Mr. William. You are a writer, although not yet famous. You use the English language. I, also, am a writer—well, perhaps not quite a writer, but at any rate I write my poems. And I use the Armenian language. This is the poem I wrote last night."

And then he would read a poem that I thought was wise and human, and incredible, not for a cabinetmaker to have written, but for any man to have written.

And I thanked him and went on to the beach where I walked and picked up pebbles, as if they were words, or coins of money.

Four years later, I broke through at last, and my first book was published, let me even now, almost forty years later, say praise heaven, praise God, praise Jesus, praise the sun, praise everything and everybody. While the poems of the good cabinetmaker were never published, heaven help us one and all.

13



But everybody who is brilliant, or at any rate slightly more brilliantly *stupid* than other people, doesn't come from Bitlis, although the people who *do* come from Bitlis like to think that everybody who is brilliant *does* come from Bitlis, especially the big oafs, who are invariably eager to uphold the Bitlis tradition for superiority in all things, including loud vulgarity, and in this ambition are unfailingly successful.

The only trouble is that in the end one or another of the big oafs turns out to be really only a shadow less *intelligent* than the most enormously famous intelligent man in town, Armenian, Christian, infidel, or Anglo-Saxon.

My own branch of the Saroyan family has its share of both kinds, and I seem to represent a kind of combination of them: the wise man, and the fool, or at any rate the lunatic.

But it must be stated, so that it may be understood, that the word for lunatic in the Armenian language,

kbent, is used without scorn and in some cases with admiration, if not indeed even with reverence.

David of Sassoun was *kbent*, for instance, and if you don't happen to know what he did, let me sum it up by saying that he did everything.

Not all of the great, exciting, or only moderately interesting people of Armenia come from Bitlis. Sassoun for instance is about forty miles slightly northwest of Bitlis, and there have always been some fascinating people in that mountainous city.

On the other hand, there are cities whose fame lies almost exclusively in the commercial talents of its people. These people are businessmen, merchants, shippers of precious merchandise, bankers, money lenders, building construction financiers, and rug merchants. And of course it is expected of such people that on the one hand they will be ruthless in their exploitation of people, including widows and children, and on the other hand that they will donate enormous sums of money to heroic charities. In their wills they arrange that their fortunes shall go for the establishment of Armenian Schools all over the world, with fresh milk provided for little children at all times.

My mother's father, Minas Saroyan, had a kid brother named Garabet who went to Istanbul (which was called Constantinople in those days) and got into so much trouble over Greek girls and insults directed to officers of the Turkish Navy that he was hustled out of town to avoid arrest, and then sent to America, arriving in Fresno sometime in 1898, the earliest Saroyan in America.

In 1918 he donated a large sum of money for the Armenian orphans, including possibly many blood relatives who did not even know they were Saroyans. When the everlasting collectors of such funds presented themselves to him in 1932, he said, "Didn't those orphans grow up?"

He was one of the people I am glad I knew. I was just a little surprised ten years ago, long after Garabet had been dead and buried and all but forgotten, that a number of members of my family, seeing me suddenly after a year or two, said, "Why, when you came in here, I could have sworn it was Uncle Garabet."

Well, yes, we do have the same forehead and moustache, at any rate.

One day after I had had two books published I walked past the cabinetmaker's shop on Ninth Avenue in San Francisco, and he asked me to come in. He lifted a sheet of lined paper covered with writing, and said, "This is a poem I wrote two weeks ago. I have been waiting for you to pass by, so I could read it to you. Each line begins with a special letter. We do that kind of poetry writing in Armenia, you know. We also use this system as a code for the sending of messages to our people wherever they may be. All of our poets wrote poems with concealed messages in them: Unite, Armenians. Fight, Armenians. And so on. Well, *this* poem's concealed message is your name. I hope you like it."

And he read the poem.

I was embarrassed of course, because it was not only about me, but about my father, Armenak, and

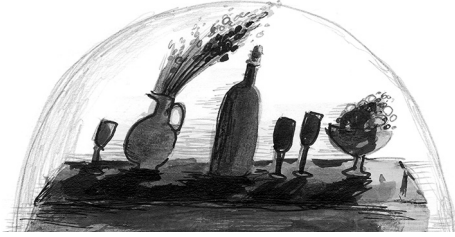
my mother, Takoohi, and about Bitlis, and Fresno, and San Francisco, and America.

I thanked him, and I left the shop.

Years later I heard that he had had a nervous breakdown and had been put into a hospital. And finally I heard that he had died, but I was glad to learn that at least he had died at home, in the flat over the cabinetmaker's shop.

I suppose it figured that he would first have to go mad, and then die.

14



The people you like when you meet them and while you know them, and the people you remember fondly, are invariably people who have a sense of *comedy*, not just a sense of humor. They are a people who can make you laugh, who do so deliberately because they like to hear you laugh. They like to see you feeling amused enough to forget that you really feel terrible about the whole thing, as many people do, from the beginning to the end of their lives, outraged first because they have been born, and then outraged because they must die. And, of course, it is just such people, with an addiction to outrage, who most enjoy laughter, and who in turn are most effectively able to make others laugh.

All comedians are people who really deeply consider the human experience not only a dirty trick perpetrated by a totally meaningless procedure of accidents, but an unbearable ordeal every day, which can be made tolerable only by mockery in one form or

another. And the comedian's method is to notice that *the joke* is steadfast in everything, there is nothing in which the joke is not centered, including (or especially) in all of those things which are ordinarily, even to the comedians, plainly sacred.

Now, the comedians I am thinking of are not the stand-up comedians of the world of entertainment, although I have known, and still know, many of these comedians. I find many of them good to know, too, although most of them are bores who, away from the act they do in front of an audience which responds to their work and thereby expresses approval of them, which they need incessantly and abundantly, most of the comedians, when they are away from their performance, when they are themselves, are intolerable egomaniacs, totally devoid of imagination. And they have the most unbelievable and unbearable order of pomposity known to the human race.

They actually believe everybody knows them and loves them, and some of them, as they approach eighty, and as they move nearer to ninety, believe God has directed the flowers to open in the morning to express God's own love for them, and for the butterflies to come flying directly to their noses, in another expression of God's love.

These professional comedians aren't really members of the human race at all, if the truth is told: when they are great, they belong to the angels, and when they are sick, as most of them are, they belong to the apes.

The comedians I am thinking about are the comedians of the world, not of the stage.

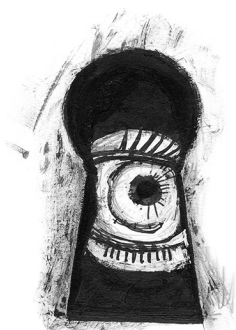
These world comedians entertain their friends and their families, and they do it all the time. My own family has been full of them, but only the men have been great comedians, although my mother, Takoohi of Bitlis, daughter of Lucy and Minas Saroyan, and married to Armenak, son of Hripsime and Petros Saroyan (whose original name was Hovanesian and took the name of his stepfather), my mother had the greatest skill of mimicry, of impersonation, of caricature, I ever saw in action: every person she ever met she nailed instantly to his mark: in appearance, stance, movement, speech, silence, gesture, and quality.

It was great family entertainment to see her in action, and she went into action because she had to, it was fundamental with her to acknowledge the peculiar reality of everybody she met, or saw from a distance – or on the stage, or in movies or newsreels.

And while she enjoyed laughter and lightness of spirit, she deeply felt the sorrows of the human race, as revealed in herself, and in those members of it whom she knew, all her life.

Every now and then, she would look up from reading, and say to herself more than to anybody else, “How sad it is.”

15



So many members of my immediate family have been “touched,” I hesitate to write about them for fear their children will feel that a family secret has been let out.

As for the remote branches of the family, they also have their mad people, but I don’t know them very well, and they have managed somehow to keep the madness well within the confines of family privacy.

My father’s side of the family is given to a kind of abstract sorrow that sooner or later impels any member to flip his lid, or to have a ferocious struggle in order not to do so. Almost everybody in the family is a faultfinder, beginning with God, who can be awfully unimpressive at times, and at others the kind of idiotic practical joker who in human terms would be instantly killed by those who have been his victims. After God, these Saroyan mad, or *kbent*, quarrel with the human race, especially that branch of it which goes under the genetic, national, or cultural heading of Armenian.

And then the fault-finding comes home to the specific family within the body of that nation, the Saroyans. And then to that specific branch of the Saroyan family to which the brooding man belongs; and then to his father, that strange mixture of fool and nobleman; and then to his mother, that poor ignorant proud woman; and finally this fault-finding goes out to the animals of the fields, the birds of the trees, and to the fish of the sea.

Very seldom does it come home to the man himself, but when it does, watch out, that's all I can say, because then you have a man not only depressed but *violently* depressed. And what he wants is for everything to change—God, the human race, the Armenians, the Saroyans, and the miscellaneous large bodies of authority, such as the Supreme Court of the United States of America.

It was to that large body that my father's kid brother Mihran once wrote; or said he had written; or went to a lawyer, possibly Manouk Hampar, to ask that the lawyer write on his behalf. Wasn't it enough for a man to be honest and upright, did he also have to be deprived of the very faith in himself which finally is the only excuse for a man to go on living?

And on he would go, saying things that had no apparent meaning, but seemed reasonable to him, and possibly even to members of his immediate family, and perhaps even to Manouk Hampar, that great soul, who had a policy of hearing out all madmen, especially of the Saroyan family, knowing they were unwilling to go to a lawyer *in* the family, of whom

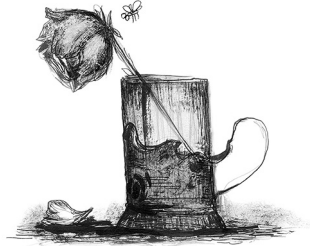
there were two, one specializing in loud criminal law, the other in quiet business law, one an actor and world-winner, the other a money-seeking bore. After hearing out the mad Saroyan, Manouk Hampar would say, deliberately using English, "This matter is now under official advisement. That will be one dollar."

For he knew that no sick Saroyan would make himself sicker haggling over a legal fee of only one dollar, and also that it permitted the Saroyan to feel that the matter *was* indeed now at last in the works, and the world was going to know about this fellow's lonely agony.

And then going down the hall of the Bank of Italy building, built in 1917, the fault-finder would say to the walls, "There is a matter of honor in these things, and the man who does not act on behalf of honor—well, how can he consider himself a *real* humanitarian?"

In his office, the lawyer might perhaps think about a kind of report to make to the Supreme Court, simply for the amusement of it, to mention to his fellow lawyers at lunch at the Mayflower the following day. "Dear Supreme Court. My client, one Mihran Saroyan, has commissioned me to inform you that his head which is usually as hard as a rock has lately suffered a certain amount of softening, so that he feels you have discriminated against him in some mystic, secret and nefarious manner. Don't do that anymore. Yours truly: signed, Pastabon Pastabonian." Or, Lawyer of Lawyers.

16



Chance acquaintances are sometimes the most memorable, for brief friendships have such definite starting and stopping points that they take on a quality of art, of a *whole* thing, which cannot be broken or spoiled. And of course a sort of spoiling is the one thing that seems to be inevitable in an enduring friendship—new aspects of the person become revealed, and that which one had believed to be the truth about a person must be revised. The whole reality of the person must be frequently reconsidered, and so instead of having the stability of art or anything like art there is a constant flux, a continuous procedure of change and surprise, which at its best, if both people are lucky, is far more appealing than art, for this is the stuff from which art is to be made, from which art is to be continuously enlarged and renewed.

An acquaintanceship, if all goes well, can linger in the memory like an appealing chord of music, while a friendship, or even a friendship that deteriorates

into an enemyship, so to put it, is like a whole symphony, even if the music is frequently unacceptable, broken, loud, and in other ways painful to hear.

One encounters acquaintances endlessly, especially on one's travels.

There is always somebody on the train, ship, bus, or airplane, who wants to tell you his story, and in turn is willing to let you tell yours, and so you exchange roles as you listen and tell. If the duet works well, you say so long at the end of the ride, and you remember the occasion with a pleasant satisfaction with yourself and with this other person who was suddenly a part of your story and of yourself.

Now, if you play your cards right, and this acquaintance is a pretty girl or a handsome woman, you can risk trying to extend the chance meeting to a non-chance meeting, but the rules of this sort of thing, although unwritten and unstated, do not tend to even permit either party to *think* in terms of anything less than absolute purity, absolute impersonality, total awareness that each represents the whole human race at its courteous best.

You have been thrown together accidentally, total strangers, in order to pass along as if to Truth itself, or to God, or to Memory, or even to Yourself and to Your Family, the essence of your own story and reality. You are not there to acquire more story, to have more material to carry with the rest of the material that still hasn't been really understood, or certainly hasn't been used, and you are there anonymously.

The game does not work if you let the other acquaintance know your name or who the people are in your inner life.

What you share is a kind of gentility, sympathy, and charity, not so much for one another, not so much each of you for the other, but rather for the unnamed people in your lives who have been stupid, wrong, unfair, cruel, and altogether human.

And so while the carrier moves steadily toward where you are going, you speak to one another, and you say things you wouldn't say to any other people, and you know everything you say is understood and will not be used against you, and then when the carrier arrives you look at each other and smile, and say good-bye, good luck, and you move along, and that's it, and you aren't sorry that that's it, you are pleased that it is.

I have had many such acquaintances—literally hundreds, but I remember best going back to San Francisco from New York in January of the year 1929, after I had failed to take the big city by storm, after I had *not* started my career as a writer just twenty years old. I traveled chair car the whole distance and the whole time, about eight days, I believe it was, it might have been even longer. And then all of a sudden during the last two hours of that long train ride a little girl joined me in a sip of coffee from the Candy Butcher's urn in the corner of the parlor car, and we got to talking. She was married, she was pregnant, her husband was an office worker in Denver, they had no

money, she was on her way home to her mother in San Francisco until he could get a proper one-room apartment, with bath and kitchenette, but she was in love with everything, especially the baby, and her husband, and life. And with me, as well, as I was in love with her. And I may say passionately if also totally impersonally.

17



And of course there are always one's enemies. Many thoughtful men have spoken about their enemies with contempt, with absolute hatred, but also now and then with admiration, and sometimes even with warmth, especially when speaking of friends who went sour. No enemy is so annoying as one who was a friend, or still is a friend, and there are many more of these than one would suspect.

The worst enemy is the one who knows you and knows what hurts you most, and if he also has skills that you do not have, your situation is not very good.

Lawyers have skills many people do not have, although there have been, and there are, lawyers who in spite of their skills are fair game to people without legal skills who nevertheless know how to make even a lawyer know fear, and how to make him suffer pain.

There was a lawyer in New York who was more nearly a cafe society personality than an office man, for he did legal work of various kinds for people who

earned enormous incomes in show biz, as they themselves put it. They needed to know how to prevent the government from taking all of their annual money and going on an Asiatic war spree of one sort or another.

And this man, demonstrating to these people year after year a sure skill in not allowing the government to rob them of their money, became a very popular member of their crowd.

He knew everybody, and he knew me, but I didn't join his happy, bustling, busy friends, who in the very manner in which they greeted him exhibited their fondness for him, or should I say their fondness for his ability to prevent the government from stealing their money?

I was in fact only just able to conceal my contempt for him, and also for his clients, the brisk, bouncing bastards, all athrill by their success in show biz, all aglow by the love and applause of the common people, as they put it, all of them dismal frauds, for whom at the very most one's contempt can be tempered by a little amusement, and that's all.

And this lawyer wanted me to be just a little less hostile, because hostility was *his* business.

Among his clients, and friends, were a number of people whom I was unavoidably obliged to have dealings with for a while, like a wife, and sometimes it happened that, when I was with these people, he was summoned, and a group formed around a table in a bar, to sit and discuss with him both business and pleasure.

And everybody responded to the lawyer fondly, and I didn't.

And he didn't like that.

Furthermore, I didn't do what everybody else had done.

I didn't tell him, "Now, look, I think the tax collector's taking too big a chunk out of my income every year. I couldn't help overhearing since I am right here at this table what you just told Joe Haffamann about the way you saved him a fortune of money, as the saying is, last year. Do you suppose you could do the same thing for me?"

The main reason I didn't say anything of that sort is that I wasn't *interested* in forming a fake corporation, and I didn't have, and I wasn't earning, and I wasn't ever likely to earn the kind of money that would make forming such a corporation worthwhile. How much could the well-loved lawyer keep from the tax collector when my entire income for a year was only around ten thousand dollars? Sometimes even less? Ah, but with his know-how and friends, I would soon be earning ten or twenty times as much, wouldn't I? Even so, I wasn't even slightly interested. If I were, I would probably choose to go into counterfeiting U.S. currency.

And so there he was, and there I was, and there were his friends, some of whom I had unavoidable and desperate dealings with.

Finally, one day one of these friends brought a legal action against me for a lot of money, and her lawyer was this well-loved bouncing boy.

What happened was that we were all at a fashionable bar having a couple of drinks and somebody asked where I was stopping in New York on this visit, and I mentioned the hotel, and an hour later, two minutes after my arrival there, I answered a knock at the door, and a young man handed me a summons.

I examined it and telephoned the lawyer.

Yes, he said, his client *was* suing me for all that money.

“Well, this is ridiculous,” I said. “If anybody ought to sue, it ought be me, but I *never* sue.”

The lawyer said, “No, I’ve read the papers involved, and you will lose in court.”

And after about four years of dragging on and on, I *did* lose.

As for the lawyer, he died. But what fun, what fun for him while he was *like* in show biz itself.

18



And I've met a great many writers, most of them unpublished, quite a few slightly published, and a handful actually published. And they are, all of them, a fascinating lot.

There was the Finn who wrote for the pulps in the early 1930s. I used to see him at the Turk Street Poker Club in San Francisco, but writers aren't really poker players, although they *are* gamblers.

Poker players cultivate not being gamblers, they cultivate not risking money, they wait for the nuts, as the saying is, and then they display ferocious bravery and bet everything they have, as if at last they had gone mad, bluffing, which is the way a *writer* interprets their behavior, and calls, and loses.

I can't even remember the Finn's name, was it Larsen? Well, anyway he was a slim fellow, quiet, slightly brooding, as one now and then notices that a Finn is, and there was just a touch of comedy in him, as when he would make a kind of wild and hysterical gesture, as if to shove in his stack to a man with the nuts, and the man would imagine for an instant that he had

made another killing, whereupon the Finn would smile and throw away his cards.

And then there were the many writers who enjoyed drinking and eating, laughing and talking, singing and dancing, especially at Izzy's on Pacific Street in San Francisco in those same years, the 1930s—and what years they were.

Well, weren't we all young, and wasn't it therefore proper that the years should be glorious? What girls, what sweet girls had come down to the big city from villages and towns in Oregon and Washington, Montana and Idaho: and how we fed them but didn't marry them because who needed it, who wanted to spoil the fun?

One of the writers who used to come to Izzy's in those days was a man of about twenty-six, about my age, and like myself not yet published, although I was about to be, my first book had been accepted, as the saying is. And with him was always a slim flower-like beauty from a village somewhere in Utah, probably a Mormon girl. The whole saloon noticed her. Every man noticed how rare a flower she was, and how wrong it was for her to be going around with this rather pompous, stiff, pale, ineffectual, bloodless fellow who couldn't jump and holler and sing and drink a dozen grappa fizzes and feel great, this Anglo-Saxon fraud of a man.

And so everybody was concerned about this flower of a girl and this fraud of a man, including myself, and everybody tried to understand why the little girl continued to stay with such a weird fish.

The second time he arrived at Izzy's with the girl, he said to me, "Can I speak to you a minute, please? I know you're wondering about Delfina and me. Well,

please keep this to yourself. I met her at the bus station a month ago. She was broke, not very well, and homesick. I looked after her. The idea was to send her home as soon as I could raise the money. In the meantime, I developed a cough and was examined. The trouble is she was there at the time, and the doctor believing we were married told her I have cancer of the lungs, and at best I've got six months to live. I tried to force her to go home, but she just won't hear of it. She is going to look after me—to my dying day. Don't let this get around, but I know you like Delfina and I can see that she likes you, but look at it *this* way. I mean, what the hell."

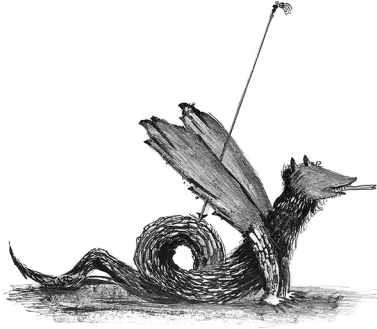
Well, of course that was something else again, and the writer and his Delfina were treated by me with great warmth and courtesy ever after. But suddenly one day I wondered how had *everybody* found out what he had told me in confidence?

Six months later the writer and Delfina disappeared.

A year later, however, they were seen together at another bar, and then thirty years later I saw them in one of the most hidden-away bars I have ever visited in San Francisco, and for a flash we recognized one another. He was about to call out my name, and I was about to greet him, and *her*, but I decided, Ah no, let him be. That lie was the best writing he ever did, let him enjoy it in peace.

And who knows what he had told the girl to keep her devoted to him? Well, now, that is writing, isn't it? The dirty little coward, bespoiling a sweet shy wildflower like Delfina.

19



I have had a policy all of my professional life to write about the people in my stories with the largest possible sympathy, large enough at any rate for them not to appear to be monsters, even when they had in *reality* been monsters. Some of the originals of the people in my stories I both hated and wanted to kill, precisely as St. George had killed the dragon.

There weren't a great many of them, however.

And there were quite a few people who had once *seemed* to be monsters who later on seemed to be ordinary, and even amusing.

I hated D. D. Davis, the Principal at Emerson School, for instance, and considered him both a monster and a fraud, for he was the man who stalked about in the halls, and looked mean. And he was the man the teachers continuously threatened me with, saying, "You behave now, or I'll send you to Mr. Davis."

And every time they *did* send me, he gave me a strapping with a leather belt.

Why shouldn't I hate him?

But as time went by, I let it go. He had eleven children. He and his wife never lost a child. Armenian husbands and wives with that many children always lost four or five, in between. He was just another big stupid fellow, and so I have no intention of hating D. D. Davis, dead at the age of eighty-eight these many years. Now, his boys and girls are parents, grandparents, and great-grandparents of surely enormous numbers of more boys and girls.

Let him rest in peace, a man who had no business having *any* connection with any school at all.

He was a big laugh when in front of a whole class whose teacher he had surprised by an unannounced visit, he got himself uncaught on the other side of his winter underwear by squatting, lifting suddenly, and kicking out a right leg.

Walter Huston used to do the same thing when he was standing with people who were talking big, and it invariably made me fall down with laughter, for hadn't I long ago seen old D. D. Davis do it, but in pure innocence, while Walter Huston did it as editorial comment, so to put it.

I once asked him about it, and he said, "Oh, that's a little something I noticed as a kid, and then there was a famous vaudeville act called Rosalinda and Harry, and Harry used to do that all the time standing and chatting with Rosalinda, who was of course absolutely gorgeous—and Harry never seemed to suspect that Rosalinda might consider it odd that he kept doing exercises while chatting with her."

In January of the year 1929, when I returned to San Francisco after four months in New York, the only living writer in San Francisco I had ever heard about had the name of Charles Caldwell Dobie. I looked him up in the phone book, dropped him a line, and he replied, asking me to visit his "office" on Montgomery Street in a building I came to know years later as the Monkey Block, which was its nickname.

He had a cubbyhole containing a bare table containing an enormous typewriter.

He himself was a rather clerkish-looking man of perhaps forty-four to my twenty:

"*This is a writer?*" I thought.

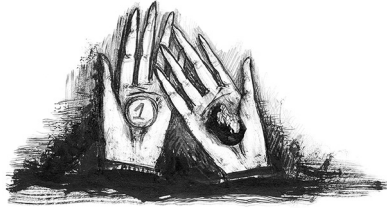
And he said, "Now, what seems to be the problem?"

Well, of course, this just wouldn't do at all, but I decided to be polite at any rate, so I said, "Well, I'm a writer, and I wanted to ask another writer, 'Does it *help* if a writer *is* a writer?' I'm doing other work for a living, but I don't like doing that work instead of writing. That's all."

He studied me a moment, and then spoke rather kindly.

He's been dead now forty years or more, I suppose. He died young enough, but not nearly famous enough, and he did answer my letter and speak kindly to me. I honor therefore Charles Caldwell Dobie.

20



The best that can be said for anybody is probably that you misunderstood him favorably. I don't believe you can say you understood him favorably. In short, the best that can be said of anybody is probably the consequence of a favorable misunderstanding. Some people, frequently scoundrels, are impossible not to like, for some reason, and this reason isn't based upon their corruption, or their corruptibility, their easy proneness to being diminished from a potential virtue to a demonstrated vice. It is something else, entirely.

One of my friends in Fresno was a dark boy called Rum, for Rustom, although nobody but the immediate members of his family knew his name was in fact Rustom, a name famous in Persian lyric poetry. He was a sturdy Armenian boy from big, strong, hearty parents.

He was the boy who in a recess fight with me did not understand that my striking him *only* on the shoulder was deliberate, so that I would not commit the offense of striking another human being in the face. But this big idiot, a man I could have de-

stroyed, did what all big idiots in all areas of human activity do when given quarter. He accepted and gave none in return, but proceeded to strike *me* in the face.

I was outraged and astonished, not to say hurt, and would perhaps have had to lay into him in the same manner, which I really didn't want to do, had not one of the teachers in the schoolgrounds, a Mr. Cagney, flushed of face and outraged by what he had seen, stopped the fight, to tell *me*, rather than Rum, that I had no business getting into a fight with anybody, on *any* account.

Rum, being the idiot he was, gloried in the fine showing he thought he had made, smirking and pretending not to need to listen to this rather sissy teacher: what kind of a man is it who teaches the fourth grade at Emerson School, where all of the other teachers are women?

One of my best friends came to me after the break-up and said, "For God's sake, why didn't you hit him in the mouth? Why did you keep hitting him on the shoulders and arms?—your jaw is swelling up. Are you crazy?"

And of course I didn't quite know how to tell this friend, *not* an Armenian, an American, well, almost an American, a son of Irish people, as a matter of fact, I didn't know how to tell him I refused to hit another person in the face.

Now, the way the world goes is amusing.

The scene changes from the playground at Emerson School in Fresno to the Barrel House on Third Street in San Francisco. Rum and I are now twenty-

one or twenty-two years old, and Fresno is far in the past, forgotten almost, and even our little fight is forgotten, almost.

He sees me at a table playing rummy for money. After the hand, I quit the game and have a beer with him at the bar, and we begin to meet there, or at the Kentucky just down the street, or at Breen's across the street, and to loaf around together in San Francisco.

Well, I had always known that Rum was an idiot, for it was a fact, but I rather liked him just the same, believing that since he didn't know he was an idiot, didn't even suspect that he *might* be, he was innocent.

But as I came to know him and learned a little more about him, I found out that he was also a pimp, that he pretended to be legally married to each of his girls, of whom he had had about half a dozen every year, and had sold them to other pimps, or to houses. And yet I did not drop him, or avoid him. We went right on being old friends from Fresno, loafing around together in the Tenderloin of San Francisco: until the world changed and I got drafted and he didn't, and years later I heard he had died, that's all.

21



I have frequently misunderstood things. Forgetting everything I had learned from so much painful experience, I have stood years later in dumb disbelief, remembering, and laughed at myself, and wondered.

Lord, why have I always been such a fool? Is this true of everybody, or is it that you have chosen me for the honor? If so, why? Because I have a natural aptitude? Or as a lesson? If a lesson, what is it that you want me to learn?

But who can speak to God, or rather who *can't*? The question is, who can get an answer? Or at any rate an answer that isn't from himself?

Here, now I stand and laugh at myself, because I find that I can't think of anybody whom I have ever been half-enchanted to meet. I have surely met, one by one, at least a million people, for I am in my sixty-fourth year, so why am I still unable to choose one?

What am I waiting for? Am I afraid I am going to run out of people to write about? Write about Arthur Miller, one of the most successful producers of fashionable plays on Broadway. I met him just as he was

starting his decline, and we sat at a table in 21 with his old pal George Jean Nathan. And we talked about the New York theatre, and the theatre in London, and I told him about the real theatre, the theatre inside the home of every family, especially every American family.

Or if you don't want to write about *that* cheerful gentleman, why not write about Bennett Cerf, he was the publisher of your first book. Say a few kind words about a man who got a lot done in the way of moving from one place to another every day of his life, and at the same time amassed a fortune of—well, let's say eight cool million mother dollars, and let it go at that. Some of this fortune was made by joke books he had other publishers bring out. Each of these books was a best-seller and made big money both for the publisher and for the collector of jokes, for that is what Bennett Cerf was, as well as a maker of puns.

When we did a little loafing around together in New York in 1935 on my way to, and upon my return from, my first visit to Europe, he did so many puns that I finally said, "Hasn't any friend of yours ever told you that if you make another pun he is going to kill you?" To which Bennett Cerf replied, "*Everyone* has, friends and enemies alike." Only he put the reply into a pun, which I thank God I cannot remember.

Well, why not write about Bennett Cerf?

Well, I don't want to.

All right, write about somebody who isn't famous, or somebody who didn't make eight million dollars.

All right, I'll write about a young man standing in the entrance to a vacant store on Market Street in San

Francisco in 1929, selling a book about the mysteries of the universe.

He had the mightiest mouth I had ever seen: it was tireless in its muscular action, so that everything he *said* was also *performed*, by his mouth. My brother Henry, standing with me to hear his whole pitch, about four minutes in duration, said, "Let's go back and watch him again."

He didn't say *hear* him, he said watch him.

And the second time, he was even better, but we didn't buy the book, although it was only twenty-five cents, reduced from one dollar

22



I have never known a great many first-rate writers, not even after I became published, but I have known a few.

I think I have always known more painters than writers.

There is something about a painter that I find not easy to understand. They almost invariably try to explain themselves, and they almost never are any good at it. They make a mess of what is in the painting, in its own language, which does not need any word of explanation at all.

Now, when I lived at 348 Carl Street in San Francisco and was twenty-four years of age and still writing and not selling anything, it came to pass that my brother Henry during a walk one evening after a big supper of bulghour pilaf said, "Right there in that house is a woman who works at Western Union, and she says her son is a great painter, shall we stop and say hello?"

So we did. The lady was a southern lady, and spoke a little like all of the southern ladies in so many of the southern novels, and movies, and plays, but not *all* of them.

Her manner seemed to suggest that she knew she was making quite an impression by her manner of speech, along the lines of the southern tradition, and she wanted to know, silently of course, if Henry and I appreciated her performance.

Well, I didn't know about Henry, but I really enjoyed hearing her, and for that matter *seeing* her.

Instead of being a slim matronly prim woman, she was large, overweight, warm, and given to ripples of pleasant laughter every ten or fifteen seconds.

"Well, now," she said, "you young men of ideas, like my own boy, Claiborne—he's a baby, my dear, only twenty-four, and how old are you?—twenty-four, too, how nice it is, you must stay and meet him, he will be home very soon, I'm sure you're not here to meet me and hear me rattle on and on, so just let me see that you are comfortable and I'll go fetch refreshment, I'll do my best, and I have an idea you will be perfect gentlemen and adore it, or at any rate *say so*."

She disappeared into the kitchen, and after a moment a very young man came out of there, and I said, "Are you Claiborne?"

And the boy said, "No, *he's* twenty-four, I'm eighteen, I'm Farragut, my mother just kicked me out of the kitchen."

After we had introduced ourselves, we asked Farragut about his brother Claiborne, and Farragut said, "Well, I can't say for sure, but it seems to me he must be some kind of wonder of the world, for he can look at somebody and look at him and start drawing and then painting, and after a while you will see *that* man

on the canvas, and he will have something *more* in his face than anybody except Claiborne ever saw.”

I was now more interested than ever both in meeting Claiborne and in having him let us look at some of his work, which his mother had assured us he would do, but which *she* herself absolutely would not do, as it would be sacrilegious.

Was there any *real* justification for the astonishment in the mother and brother about Claiborne’s talent, whatever it might turn out to be?

At length the refreshment came out on a big metal tray: orange pekoe tea with lemon, gingerbread baked in the shape of little people, and cucumber sandwiches on very soft white bread without crusts.

I had a good go at the stuff, eating much more than my share, but as there was an enormous amount of it, and Henry ate only one of each, and Farragut only drank tea, it wasn’t possible to notice how much I put away, unless you made a point of it, which I did. Four gingerbread people, eight cucumber sandwiches.

Then, at last, into the parlor came Claiborne himself, a sober, lean, rather touching figure of a young man, who immediately after the introduction said softly, “Would you sit for me, I’d like to try to paint you?”

And so I sat for Claiborne Tattersall twice a week for four weeks, whereupon he gave up.

“You’re different every day, I swear.”

Later, I heard he’d had a nervous breakdown. And at the time of the national draft I heard he was a conscientious objector and was put in jail.

But not everybody I ever met had a nervous breakdown, or was a conscientious objector.

23



A neighborhood has a kind of mystical identity which one scarcely suspects let alone notices while one is living there, for living uses up all of a man's time and attention. But in retrospect sooner or later a man remembers an old neighborhood and suddenly notices that there was something fantastic about the place.

Well, the neighborhood just south and east of Emerson School in Fresno was instantly recognized as an Armenian neighborhood, even though Syrians, Assyrians, Slovenians, Portuguese, Irish, and Serbs also lived there, and just at the edge of Armenian Town there was a Basque hotel, complete with a jai alai court. The Basques were shepherds come to the San Joaquin Valley to earn enough money in four or five years to go home rich, buy a farm, take a wife, and raise a family.

They did not tend to marry in Fresno. There was a continuous arrival and departure of shepherds at and from the Yturria Hotel near the Santa Fe depot.

In town for a week or two, they sat and ate the hearty meals that came with the rooms they rented, gossiped, sang Basque songs, and availed themselves of the professional women.

One did not see a Basque boy or girl at school, but sooner or later, as all such things must, it happened. Many Basques did *not* go home rich, they stayed in California poor, or comparatively poor. And then some stayed rich, and others became very rich. And they took wives, and brought up families. Most of them took Basque wives, although quite a few took women of the region, of many nationalities.

Now, it may be impossible not to notice that the people who lived in Armenian Town were all members of other small nations. It may be fancied that my own high regard for these people, especially for the Irish and the Portuguese, was the consequence of Ireland and Portugal being small nations, but that is probably not the explanation.

I liked all of these people because they were quite simply part of the mystery of my neighborhood, because I saw them daily for quite a few years, and because they had a quality about them that both amazed and amused me.

Now, in the rest of Fresno, I knew members of other nationalities: Italians, Greeks, Germans, Danes, Swedes, Chinese, Japanese, Hindus, Mexicans, American Indians, and a few Blacks, apparently not from the South, however—probably from places like San Francisco, Portland, and Seattle—that is, people without a southern accent.

The sons of not all of these people came to the press room of the *Fresno Evening Herald* to take papers and to run to town with them to sell them, many of the sons of such people came to the *Herald* just to be with friends, to visit, as it were, and now and then one or two of them tried selling papers but soon grew tired of it and dropped out.

The only real hustlers of newspapers, the only real headline hollerers were indeed Armenians and Italians. They meant business, and the money they earned was needed at home, both to keep families going, and to enable these families to save money enough to make down payments on homes of their own.

There were others who regularly sold papers, but just a few of each: Greeks, Germans, and Americans.

Years after the neighborhood lost its identity and was as good as gone forever, I suddenly understood its mystery—it had been populated by willing exiles who nevertheless had deeply longed for a place they knew they would never see again.

24



The people you hate, well, this is the question about such people: why do you hate them?

Invariably the answer is this: because they were rude, they hurt your feelings, they hurt you, they tried to make you feel worthless, they nearly destroyed the self you had been working on for so long, they drove you to a kind of desperation.

Don't bully me anymore, old buddy, don't stand in my way, don't call me names, don't threaten me, I'm here, I'm moving, I'm not going to be stopped by you, so here I come, and if you try to stop me I'm not going to let you stop me.

This began very early in my story, in the streets of Fresno. It took the form of fights with other newsboys, or with boys of the streets. I had set out to be decent with everybody, but I soon noticed that if I was de-

cent, this was interpreted as weakness, and somebody would decide to exploit my reluctance to stand fast, my willingness to move *around* the opposition. But doing this so deeply annoyed and humiliated me that when the bully arrived again, to continue the game, I said, “All right, fight, then.” And stood fast, with clenched fists, and waited for him to come in, but he didn’t, he was afraid to come in, he *wanted* to be tough, but he *didn’t* want to get hurt, and he went away.

And so, soon again I became decent, and was aware of another’s struggle inside himself, but sure enough was exploited again. This time, however, I didn’t permit any humiliation to make me red in the face, but said, “I think you want a fight—well, I’m ready.”

After a year or two of that, it almost never happened that anybody—boy or adult—misunderstood my preference to be decent with everybody. And I was not obliged to try to be some kind of tough guy who had no time for such sissy things as civility and goodwill.

But of course I’ve told it at least partly wrong, and in my favor, for to this day I am very easily willing to keep silent and to walk around what looks like totally meaningless, useless, ridiculous trouble. Don’t hate — ignore. Don’t kill—live and let live.

25



Up at number 4 bis Rue Chateaudun four blocks from my four-room flat on Rue Taitbout, is a small square room on the street, which is a shoemaker's shop, not far from the entrance to a hotel with a name like Baltic. This hotel, according to a conscientious objector who did a little time in a pen somewhere in the United States for that private bravery, during the year 1944 was also a whorehouse, because he and his bride on their honeymoon took a room there, and the first thing they noticed was that there were a lot of men coming in and going out of the place, especially from 10 p.m. to 2 a.m., especially to and from the first and second floors, which in America would be the second and third floors.

In this little shoemaker's shop, which has a high ceiling and a steep corkscrew metal stairway that goes to a basement precisely the same size and shape as the shop, there is a large brown owl.

This bird has the freedom of the shop, the door of which is sometimes kept open on the street, and yet the owl has never ventured out of the shop.

There is no telling (by me) why *this* is so, but I do know the story, however sketchily, of the owl and its adjustment to life in the shoeshop.

A nice lady back from the country, whose apartment is two doors from the shoemaker's shop, brought into the shop one morning eight years ago two helpless infant owl chicks, both apparently near death.

She asked the shoemaker if he understood such birds.

He didn't, he said, but he suggested that she improvise a system of feeding them and keeping them warm. She in turn insisted that he keep one of the chicks for himself.

He did.

And that's how he has had the owl these eight years. And that's why the owl loves him, and he loves the owl.

His wife died recently, and his son and his daughter are adults, and well along into their own lives.

The shoemaker is a year or two younger than myself, he's sixty-one or sixty-two years old. He is an Armenian, born in Gultik, down from the highlands of Bitlis, but he was taken early in life to Antakya, which is the modern name for Antioch, where St. Paul stopped now and then on his missionary excursions.

Well, now, this man, Hovaness Shoghikian by name, is perhaps an inch or two under five feet in

height, but powerfully built. As a matter of fact he was once a champion weight lifter and wrestler, and has many old photographs to prove it.

In short, he is not simply a shoemaker, although he actually *makes* shoes, *entire* shoes, and for forty years has never worn a pair of shoes he hasn't made.

First, it is his trade, and he likes to work at his trade, but nowadays almost nobody wants a pair of shoes made to order, to fit the feet, to fit a cast of the foot's precise shape. Second, his own feet are small and broad, and the best he has ever been able to do in finding a ready-made pair of shoes (before he began to make his own shoes) was not very good. Ready-made shoes were always something his feet could barely tolerate. But in his own shoes his feet are at home, and standing on his feet in his shop he himself is at home. Naturalists have visited his shop to speak with him about the owl, and about a green bird the shoemaker has had almost thirty years. "She can't grip with her claws properly," he says of the green bird. "But she will live most likely another thirty years, they sometimes live to be eighty."

Where he found out such a thing I can't imagine, for he does not look into books for information.

Without any outside help, or instructions, he long ago discovered that the owl has to have in its diet fur or feathers, otherwise its digestive procedure becomes impaired. And so all these years the owl has been fed thin strips of raw beef, chicken hearts, and live mice, which he buys from people who telephone to let him know there is a mouse in their trap.

And so of course the shoemaker loves the owl and the owl loves him.

The owl certainly permits itself to be held by the shoemaker. The two of them have a simple ritual of displaying trust and affection, which involves his saying, in Armenian, “Well, a kiss, then.” Whereupon the owl puts its beak to his upper lip.

26



When I went to work at the age of twenty-one in San Francisco at the Cypress Lawn Cemetery Company, with offices on the eighth floor of the building that stood and still stands on the southeast corner of Market and Seventh Streets, a building bearing the name of Hewes, which in one of my short stories I gave a better name, Gravity—when I went to work in those offices, for that firm, I discovered that the operation was a family one. The biggest and easiest jobs were held by members of a family named Johnson, but every member had a rather fanciful first name. The top man was called, for instance, Noble Johnson, and the name seemed perfectly right for him, so that almost instantly it was no trouble at all for me to accept it.

He was in his early thirties, but Noble Johnson isn't the man I want to remember. My man is the *vice*-president, a man who had started at the bottom in 1889, and there we were in 1929—forty years later.

He wore black. He was skinny, he had long fingers, he had a long nose, and he liked to talk things over with people who worked with him, especially new people, and so it happened that when I applied for the job he said, "Now, you've come here for the job, and I'm in charge of hiring and firing, so let's get right down to business."

Whereupon he considered my name, age, address, family, nationality, religion, education, wealth, and finally, he asked the key question: "Do you want to make the cemetery business your life work, as I did forty years ago?"

To which I quickly replied, "Yes, sir, I would really like to do what you did."

Well, I got the job, of course. It was easy work, and every day I saw Noble Johnson come in for an hour, and go away. And every day I saw the Jolly Undertaker, as I came to think of the vice-president, come in and stay long after everybody else had gone home.

And every day I heard him mumble and hum to himself a song that Jimmy Durante had made famous: "Inka dinka do, a dinka dink adinko do. That means that I love you."

Well, how could a man so skinny and dry and pompous also enjoy the comic and wild *spirit* of that song?

He *had* to be somebody special deep down inside, I decided. And he was.

He wrote slogans for the cemetery, although Noble Johnson ruled them out one by one, and

wouldn't allow them to be put on signs or posters or into ads: INTER HERE. Best of all:

CYPRESS LAWN CEMETERY:

WE GIVE YOU

A LOT FOR YOUR MONEY.

He averaged one good slogan a week. I used to remember them, but everything goes in time, and so of course the old boy himself went, he's buried right there, free of charge, for faithful service.

I liked *that* old stuffed shirt, but I didn't make the cemetery business my life work. (Or did I?)

When I quit after a month, he was terribly disappointed, a young fellow who had started out like a son.

27



My early days in San Francisco might be called the Bohemian Days, since so many of the young people I knew were addicted to art, and were working to achieve success as writers, poets, playwrights, painters, composers, sculptors, or all-around frauds, living on the fat of the land.

Everybody had something going, and there were a good two dozen of us who met fairly regularly, although by accident. Among these regulars for almost a year there was a strange young woman who gave a first impression of irresistible charm. Soon enough, she revealed more of herself, however, whereupon every man who had imagined he might want to know her more deeply, withdrew, some in astonishment, some in anger, and some with sympathy and courtesy.

Her full name suggested social solidity, and perhaps even family wealth, if not importance.

She certainly had a job in public relations or something at the Legion of Honor Museum, and wrote pieces for all of the papers, but preferred the *Call-*

Bulletin, an afternoon newspaper, long since defunct, perhaps because the city editor was Scoop Gleason, who was supposed to be in the romantic tradition of the great American newspaper editors. Ruthless, that is, and always able to get a better story quicker and more dramatically than any of the editors of the competing newspapers of which at that time, in the early 1930s, there were four, although one of them was a half-brother the *Examiner*, which was the main Hearst paper of San Francisco.

On her own, however, whenever possible she went out and tried to hustle up a story that would make a hit with Scoop Gleason, if not with Dr. Walter Heil, her proper boss and the administrator of the Legion of Honor Museum.

She wrote a pretty good mood piece, as she put it, about retired old Italian men playing dominoes in a little coffee shop, who became so caught up in old rivalries brought from Naples that frequently two of them would have to be stopped from trying to strangle one another—and after half an hour of walking in the neighborhood, they would go back to the coffee shop and start a new game.

“I mean,” she said, “I had no idea such behavior was possible. It certainly isn’t in my family. When we get murderous, we mean it. I have a kid brother somewhere in the world who left home after a fight with my father ten years ago, and he was only sixteen at the time. And my father is still just as mad at him as he ever was.”

The thing about this girl was a strange and instantly appealing beauty—of figure, complexion, and

body style. She looked as if all of her being was open to being challenged, and right now, as it were, which of course made every man upon seeing her for the first time think, "Look at that." And then say to somebody, "Who is that, pray tell?"

She herself, on the other hand, wanted only to be somebody active in the arts, and writing was the area she felt she might be able to manage. Eventually short stories like those of Katherine Mansfield, and after that possibly novels like those of Willa Cather.

Thus, she and I sometimes used to sit and drink beer and talk, and of course while we talked she revealed more and more of her truth, which was at the very least odd—she had strange fears, for instance.

She was sure one night soon a black man was going to break into her bedroom, whereupon she was going to pass out cold, from terror, and wake up sometime later, and need a moment or two to remember what had happened, to be terrified all over again, to run to the door and lock it, and then to find a note scribbled by the man, reading something like, "Oh, lady, you were wonderful, so I didn't take anything else." And a few months later she was going to discover that she was pregnant. And she was not going to know what to do. Being Catholic she couldn't get an abortion. She certainly couldn't tell her mother or her father. She would either have to kill herself or have the child.

Well, she had two or three fears of that *kind*, and, as she told them, terrible things happened to her beauty, putting off any ideas any man might have about engaging her in sex.

28



In 1959, in Paris, soon after I left my house on the beach at 24848 Malibu Road—the very number won my heart when I saw the for sale sign on the house — and also left my room, 1015, not as good as 24848, but whatever the room lacked in numerological appeal, it made up for in size and height of ceiling, hall, and pantry, room 1015 at the Royalton Hotel at 44 West 44th Street, in New York, also a marvelous number, 44 West 44th, and had taken an Italian ship to Venice, with stops first at Lisbon, for a walk in the city, full of memories of where my kids and I had walked only two years earlier, and then in Sicily, in the westernmost town, whose name I keep forgetting, Messina is the easternmost town and I never forget Messina — Palermo, Palermo, that's the name of the westernmost town—and a stop in Naples, walks in each of these towns, and a stop in Patras, not far from Missolonghi where Byron gave up the ghost theoretically fighting for the Greeks in another of their losing wars with the Turks, but who knows about Byron, about legends, about death, and then on up to Venice, where I left the

ship, and after a few gondola rides here and there, took a train to Belgrade, and bought a little car there—what is all this, why don't I get to the point?

Because, whoever you are, the point is that getting to the point is quite a problem of travel, and if you are going to get to the point, or even if you are only going to hope to get to it, you have got to travel, and that's what I'm doing. I paid \$1,400 cash for the car with the German motor and the Italian body, and I drove, and drove, and stopped in Cannes, and began to gamble, and pretty soon all my money was gone. I was flat broke, a good \$12,000 was gone, and I owed the tax collector back in Washington, D.C., \$50,000, so what was happening?

I drove up to Paris, and noticed that now the month was April. April, 1959. (And that makes it precisely thirteen years ago, as I write.)

The going was bad, I was living the life of a millionaire, I ate caviar and drank vodka, I stopped at the George V Hotel, I gambled at the Aviation Club, I spent money, I lost money.

Finally, I went to work, to see about making up what I had lost, and of course going to work for me means sitting and writing.

And I made it, I got out of that time and trouble, I finished the work I agreed to do for money, and I got the money, and I began to pay off the tax collector.

On the leftover money I began to live. I rented a great place to which to bring my kids for the summer, but before they arrived in June, late in June I think it was, I had become a regular habitu e of the Aviation Club at 101 Champs-Elysees, a *bacca-*

rat and *chemin de fer* gambling club, and being the kind of gambler I am, I knew everybody, and everybody knew me. This is not a great achievement. The fact is it is no achievement at all. It is unavoidable at a gambling house that very soon you will know all of the regular habitués. And you will notice the arrival of newcomers, and their departure, generally in disarray and despair.

Among the regulars were Djingo, from Morocco, and Sergius, from Niger, whose mother was Turkish, he said, whose father was one of the biggest men in Niger politics. Sergius took automobile trips to Amsterdam now and then, and the theory was that he had added diamond smuggling to his other smuggling. But he never seemed to have money for gambling, or at any rate for what I call gambling, although he would take a place in the *chemin de fer* game and wait for the box to reach him, bet the equivalent of two or four dollars and hope to make four straight passes, and thereby to have suddenly: two makes it four, makes it eight, makes it sixteen, makes it thirty-two dollars. I once hollered at him, "Go again, you'll win." He went again and he won, and had sixty-four dollars for two, and passed the box, a thrilled man.

I liked Sergius and his pal Djingo, because whenever they saw me they smiled so dishonestly and disreputably that I had to bust out laughing; whereupon their own laughter became the most comic sound anybody ever heard—the sound of absolutely pure and authentic irresponsibility.

29



Knowing about famous people, but never meeting them, that is something people who *aren't* famous know about, and then if anybody ever meets a famous person, or an *especially* famous person, it is a strange kind of experience, as if some kind of nonhuman thing, some kind of legendary thing, some kind of impossible enormity, had been reduced to ordinary human size. And then it turns out that the poor bastard has bad teeth, smells funny, and seems to have his whole being caught up in some kind of insanity, all of his *cells* are mad, he is composed of a complicated rampage of mad cells forming one crazy entirety, which is *himself*, virtually unbelievable and altogether unacceptable.

If a boy of ten hadn't ever seen his father, and his father suddenly showed up, the boy would know something of what people feel when they meet somebody famous.

So *this* is my father? Well, look at him, for God's sake. He's nothing, he's nobody, he's got hair on his fingers, his nose is out of shape, he smells of tobacco, he seems confused. Is this him? Is this actually the man I've heard so much about, thought so much about, the man who is my father and therefore a large part of myself? So *this* is my father. Well, who would ever have thunk it?

Well, in Fresno the king of the Raisin Day Parade one year was Tom Mix. Then, Monte Blue. Then, Bert Lytell. These were the most famous people I saw in the flesh in those days, before I was twelve years of age, and apart from the fact that they rode a chariot and had beside them the Raisin Day Queen, a local girl, elected by members of the social families of the town, Tom Mix, Monte Blue, and Bert Lytell were the same as other men, except for the fact that I had seen them all in silent movies.

Tom Mix was the most impressive, and I wish it had been known in those days that he was a Greek (for that is what I have lately heard). We would all of us had said to one another, "You see Tom Mix up there on that chariot? He's a Greek." Alas, we would have been mistaken. He was not a Greek, after all. Small world, just the same, though.

Bert Lytell on the other hand was only a good actor, in silent films, and then in films *with* sound, and on the stage.

But in films or from the stage of a theater, he didn't have anything like the effect on unfamous people that I have been trying to describe: the strange living reality of the famous person actually alive and standing on two feet.

Meeting certain people makes certain other people literally sick, and that is the sort of thing I am talking about.

Their fame makes people sick, and the reason for this is that their fame or the thing they have that has driven them to fame has made *them* sick. And they have been sick for so long that a stranger feels it immediately upon standing in the presence of that person, and so he also becomes sick.

Try to imagine for instance suddenly meeting Napoleon himself—not one of the many millions of gentle souls who in some strange distortion of meanings have insisted that they are Napoleon. These nice people make you feel sick, too, but perhaps not for the same reason. Although the reasons aren't likely to be much different, at that.

For the original is essentially as mad as the imitator.

That's because each decides to be something he apparently has no real choice about—in short, his decision is helpless, he's caught, he's sick, he's mad.

Or try to imagine meeting Adolph Hitler sometime in 1944, for instance: that would surely have tended to make anybody sick.

And so it might have been to meet Stalin, because these men were fantastic and preposterous versions of human beings.

Now, sometime before the writing on the wall was clear enough to be readable, namely that a very big war apparently between only Germany and Russia and France was not going to peter out at the Maginot Line but was going to involve the whole world, but especial-

ly the United States, I was invited to go to Hyde Park for lunch with Mr. Franklin Delano Roosevelt, along with four or five dozen other writers, actors, and all-around show biz characters, and so I *saw* that fabled gentleman.

Seeing him, however, didn't make me sick, it only made me try to understand why he had to insist on trying to seem to be charming, comic, and adorable, in addition to being great, if that is what he was, or thought he was, or thought he would have to become after the "winning" of the war.

30



Jack Black was a small man who wrote a book about spending half his forty-eight years in American penitentiaries, for robbery. The courts threw the book at him, but he had never done any real first-class robbing, he had done two or three small jobs, without hurting anybody, for enough money to keep him going for perhaps another few days. But he had got caught, and he had begun to do a lot of time, American time, out of the traditional and honorable procedures of American courts, protecting American society.

He finally wrote a letter to Fremont Older, the publisher for William Randolph Hearst of the *San Francisco Call*. Old Fremont Older liked to take up causes and accuse the Judicial and Penological Systems of Corruption and Inhumanity, respectively. Rightfully. He ran front-page stories about how things could go for a hapless man in America—Jack Black, in this instance. He published some of Jack Black's letters in full, and some of his photographs,

early and late. And finally Fremont Older sprung Jack Black, with the understanding that, now that he was free, Jack Black would go to work among the poor. He would give talks on the theme that crime doesn't pay.

And of course Jack Black *agreed* to do that, although one can imagine that he would have preferred just to be free.

But when a big newspaper publisher fights the world for you, and sets you free, you are ever after in bondage to him, and to his ideas about what you and your life mean.

I'm glad I met Jack Black, because he was honest, both about himself, his time in penitentiaries, his benefactor, cops, courts, the law, and society.

He said, "A small man becomes a robber more often than an average-sized man, because a small man doesn't like being small," which of course came as a surprise to me, since he himself was a small man, about the size of a boy of twelve, and he was speaking honestly, from personal experience.

And he also said, "Oh, I was guilty, I did the robbing all right, but I was *never* a criminal. And if you want to know the truth, in all the pens I was sent to I saw only half a dozen criminals—the rest are only fools, exactly the same as people on the outside—*exactly*, only they *weren't* on the outside, they were in."

This was interesting, because I had always felt that a man in jail is a man who is not really unlike anybody else. I felt that getting caught and going to jail was a technicality, something that could happen to anybody. All the same, once you have been caught,

you are rendered out of the *big* game, and relegated to the *little* game. You are a criminal, if only technically.

I was twenty-two when I met Jack Black, and at that time I was somehow able to believe that people in penitentiaries are not really O.K. They might seem to be, but in a showdown they would not be O.K.

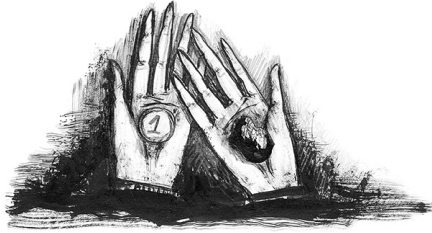
It never seemed to occur to me that that was true of people anywhere. It was Jack Black who brought this truth home to me.

I now consider putting anybody *at all* in jail an indication that the culture involved is underdeveloped — *savages* don't fool with jails. They may kill in war or anger, but they don't rub a man's soul out of him with long dead time away from the company of the rest of the sons of bitches of the world.

I spent only from about half past eleven in the morning to half past three in the afternoon one day with Jack Black: I enjoyed a nice Rotarian Club lunch with him, after which he made his talk, which was really a very sad piece of accommodation to the stuffed shirts in the big dining room.

He was a quiet, dignified little guy, with a soul all shattered. Even so, I was surprised less than a year later when I read in the *Call* that Jack Black had committed suicide by drowning himself in the San Francisco Bay.

31



Papulius was the publisher of the *Macaroni Review*. His office was on the second floor of a rattletrap building on Howard Street, where the winos lived the philosophic life, and still do, between Fourth and Fifth Streets in San Francisco.

Overlooking the street was one large room in which he had a desk with a telephone on it, a few copies of the *Macaroni Review*, and three wire baskets containing a great variety of pieces of paper, letters, pamphlets, clippings, and anything else that had come to him in the mail, or by handout.

At the top of one basket, for instance, was a religious pamphlet entitled, "Do You Want to Live Forever?" (I gather that he was giving the question his best attention.)

He was a slim keyed-up man with a strong Greek accent. (Many years later when I listened to Spyrous Skouras I immediately remembered Papulius. But then you might well ask, Who is Spyrous Skouras?)

Papulius was about thirty-eight to my twenty-four in 1932. He had put a short ad in the classified section of the *Examiner*, which I examined every morning free of charge in the display frame at the Hearst Building, at Third and Market Streets.

The ad said something along the lines of "Writer wanted. Papulius. 848 Howard." This meant that he had got the ad into the paper at the lowest possible cost, but I couldn't be bothered about a detail like that, the thing that got me was that straight-out statement about what he wanted. Writer.

Well, that was me all right, and it didn't matter that there was no word about wages. Were the wages to be by the hour, by the day, by the week, month, year, or perhaps by the piece? If the writer wrote an especially good piece, would this man, this publisher, Papulius, show his appreciation by paying a little something extra? And in those days a little something extra was highly cherished, for the reason that a little something without anything extra was just about the highest achievement any young man could make.

"Papulius," I thought, as I hurried at half past nine one morning in June to 848 Howard Street. "Where have I heard that name before? Isn't it the name of one of the greatest and noblest Greek philosophers, and isn't this man at 848 Howard Street a descendant of that great Greek?"

Well, whoever he was I would soon know.

When I climbed the stairs to the second floor I saw a door marked THE MACARONI REVIEW. I

knocked softly, waited, and then tried the knob. It turned, so I went in.

A very intense little woman with rather insane eyes, and taut muscles, glanced in my direction, while a man who wore a very seedy gray Vandyke beard, standing across a table from the woman, not in anything like a game of ping-pong or anything like that, but in some kind of activity involving open books and long lists, this seedy man not only turned and glanced in my direction but actually asked, "Papulius?"

"Yes, the ad in the paper."

"Well," the man said, "he'll be in in about an hour, I suppose. Come back in an hour."

"Is the job open?"

"Oh, yes, yes, yes," the man said. "The job is open."

"The ad said writer wanted."

"Yes, yes, that's right, talk to Mr. Papulius about it."

An hour later when I went back Papulius received me with enormous cordiality, and said I was just in time to go along with him on some calls. He drove to a spaghetti factory in the North Beach, and, talking quickly, extracted not one hundred dollars, not fifty dollars, not forty dollars but *thirty* dollars in cash money from a spaghetti manufacturer for a full-page ad in the next issue of the *Macaroni Review*.

Papulius wanted me to learn to call on such people and to get them to advertise in the magazine, six copies of which he showed me in the car.

The magazine consisted of about forty rather thick slick pages in which there were many full-page advertisements from spaghetti manufacturers.

“There are eighty-four spaghetti and macaroni manufacturers in San Francisco alone,” Papulius said with a certain amount of astonishment and pleasure, “and they do not have any other magazine in which to brag, only the *Macaroni Review*. The minute I go to a new customer and open my magazine his eyes pop open, and of course you heard what I told him.”

“Yes, you said you would write about his company.”

“Exactly,” Papulius said. “And you’re the writer. On this piece of paper I jotted down his name, and a few facts. Give him a write-up, about a hundred words is enough. Just say he’s got a nice clean factory on Columbus Avenue, number 142, he’s been making macaroni at this location for eight years, and the family has been in the macaroni business eight generations, something like that.”

“Yes, sir,” I said, because he hadn’t yet come to the money part, the wages, and I figured if I sounded eager and sensible he would mention wages of a certain dignity, but he didn’t mention wages of any kind at all, so that I was ready to consider rather undignified wages, even.

We went four blocks in his old Overland to another prospect, and he made the same pitch, but this time the macaroni maker said, “I no need advertise, I got too much business already.”

“Prestige! Prestige!” Papulius shouted, “*That’s* the reason we want to advertise.”

But the macaroni maker waved his arms and said, “I no want what you say,” and walked away.

Papulius said, "I did it wrong, it was my fault, learn from my mistakes, I should have mentioned his mother, remember that, with certain big men speak softly of their mothers and they begin to listen, that man didn't listen."

After stopping at half a dozen more places, and after he had won two more advertisers, we went back to his office, and he quickly made a phone call.

"Hello, is that you, dentist? I got some people coming from Sacramento for dinner, I want the teeth cleaned—right away. No time to lose. I be over in five minutes."

And he hung up.

"Have you met Mr. and Mrs. Goostenhouse?" Papulius said, and I thought, "Not officially, and let's just keep it that way, too." But Papulius hollered out, "Come in here, you two."

After they arrived, almost running, he said, "I want you to meet my writer, this boy has got it. He's going to do the writing and the hustling both. Tell Mr. and Mrs. Goostenhouse your name."

I said my name quickly, and the little tense husband and the little insane wife nodded, and Papulius shouted, "All right, back to your work." And sure enough they went trotting back to their tiny space in the outer office.

"What do they do?" I said.

"They do *something*," Papulius said. "I don't know. I give them the space, free rent, they answer the door and the phone when I'm out. They fool around with dogs, I think. They look like dogs, too. All right, this

office is also your office, this desk is also your desk, that typewriter over there, that's also your typewriter, write something for the *Review*, I'll read it tomorrow."

And he went out, to get his teeth cleaned for dinner.

After he was gone Mr. Goostenhouse and his wife stayed away for about an hour, during which time I wrote what I thought was a literary essay about eating, about wheat, flour, water, salt, the discovery of new usages for flour, the meaning of Italy, and the marvel of macaroni—all in well under a thousand words.

I was revising the essay when the husband and wife came into the office and picked up pieces of paper from the wire baskets, and then stopped to chat.

They were breeders of dogs—but only of the very rarest of breeds, not popular dogs.

They showed snapshots of three of these breeds and the dogs looked strangely not unlike the husband and wife.

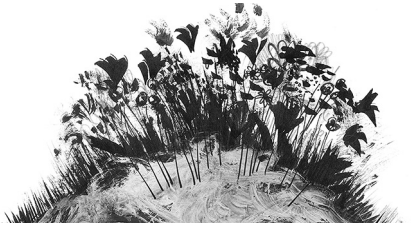
"May we read what you've written?" the man said, and standing together they read it.

"You *are* a writer," the man said. "But this isn't what he wants."

The following day, after reading the piece, Papulius said, "This is great—we feature it. We go hustle now."

Three days later I stopped going up there, that's all, because he didn't pay wages, and I didn't even want to *try* to earn a living from wheedling money for macaroni ads from sensible men who just couldn't quite resist the fame of having a full-page ad in a fine magazine, and for only \$22.50.

32



Papulius wasn't the only one of his kind. There were others like him, and the thing they shared was a confidence that at a time of national depression they could still beat the system, and make a go of something that didn't really have a chance.

They were loners of one kind or another, even when they were attached to a big outfit and had to do their work according to the rules of policy. Even when they received written instructions about how to perform their work, they chose to follow another course.

Wolinsky at Postal Telegraph in Fresno, in 1922, was theoretically only a roving troubleshooter, working out of Denver and covering the whole Pacific Coast, with instructions coming daily by telegraph both from Denver and from New York.

He was thirty-four to my fourteen, and we were almost the same height, about five feet seven or eight, although I was all muscle and bone, and he was all blubber and smiles.

He liked nothing better than to work hard, and at the same time to hear a joke and to laugh, or to tell a joke and to hear somebody else laugh.

He was the fastest telegrapher in the world, according to the other telegraphers of Fresno, and he had the amazing ability to send a very important telegram full of hard words and numbers by Morse code and at the same time to carry on a loud lively conversation.

He had a kind of double-mind, and a double-concentration system.

Even though he was an outsider, sent in to survey the overall situation in Fresno, and should on this account alone be resented, he was liked by everybody, from the manager, J. D. Tomlinson, to the newest messenger—myself.

He worked as a telegrapher, sending or receiving, only when telegrams had piled up and he didn't want the pride of the company to be belittled—the important thing was the speed with which telegrams were picked up by messengers, the speed with which they were dispatched by telegraphers, and then the speed with which they were delivered, from Fresno to New York, for instance, sometimes in a matter of under twenty minutes.

In those days long distance phone calls were not common. They were far more expensive than sending a telegram, and sometimes the connections were very bad.

Wolinsky's real work was to study the region and to extract the truth about it, with emphasis on the amount of the real and potential telegraph busi-

ness, who was presently getting most of it, and who was *going* to get a lot more of it, very suddenly.

Well, in Fresno, the real telegraph business was related to the grape and raisin growing, packing, and shipping business, and Western Union was getting most of it.

Whenever anybody sent a telegram by Postal Telegraph, at the very same rates, it was because he had found out that Postal Telegraph had absolutely nothing to do with the United States Post Office, that it was a private company, and that the only competitive, or extra, thing it had to offer was greater speed and accuracy than Western Union.

And it was Wolinsky's job to spread this information among the people who sent telegrams, and to train others to spread it.

He taught me, for instance.

"Always let somebody who sends a telegram know you will get it to its destination immediately—if not sooner." After waiting for me to laugh, he would go on. "Tell them, and then tell them again, Postal is a telegraph company, it is *not* part of the Post Office. Our rates are exactly the same as the rates at Western Union, but our service is *better*—swifter and more accurate. And then, *prove* it."

Now and then there would be an excellent opportunity to demonstrate the superior ability of Postal Telegraph in competition with Western Union.

D. H. Bagdasarian, for instance, sent two telegrams to the same person in Boston, one by Postal, the other by Western Union. The test was the idea of Wolinsky,

who sat in Bagdasarian's packinghouse office on Tulare Street at First Avenue. The messenger from Postal Telegraph arrived to pick up the telegram in eight minutes, the messenger from Western Union arrived in twelve. The reply arrived by Postal in forty-eight minutes, and by Western Union in just under two hours.

"All right," D. H. Bagdasarian said. "I go with you, Mr. Wolinsky."

What was Wolinsky's first name? Whatever it was, he was the man who got fat, as I wrote in one of my stories long, long ago, after he died of it.

33



When I first began to make the scene in Paris from the fifth-floor flat at 74 Rue Taitbout the year was 1960, and I was a mere fifty-two years of age. There was no reason for me not to take the five flights of stairs fairly quickly, and so I did, and it did me more good than harm, as far as I know.

When I got up in the morning I went down for a copy of the *Paris Herald*, as it was called at that time, and a crusty loaf of Paris bread in one or another of its various sizes, the most popular of which was (and is) the *baguette*, as it is called. A larger, longer, and broader loaf goes under the name of *Parisienne*, and a smaller loaf is called *ficelle*.

I'd pick up one or another of these crusty loaves, hot from the oven, one might say, generally the *baguette*, and I would bound back up to the flat. The water in the kettle would soon be boiling, I'd make a pot of tea, and I would sit down at the card table, the very same red-top card table at which I am now seated, at this typewriter, and I would have tea and fresh bread and Greek cheese and black olives,

and then I would clear away the eating stuff and go to work at writing. I always believe that whenever I am in Paris my first job is to write.

It is not to get married. It is not to find a rich and attractive woman, a riot in bed, and marry her. It is not to fetch all manner of young girls and mature women to bed, although now and then I would invite somebody up, for its own sake, no strings attached, no questions asked, no demands made. I mention this because whenever anybody thinks of Paris, especially whenever Americans think of Paris, they think of the Folies Bergere and juicy Algerian ladies bumping bumps like no American ever learned how, and ooh la la, girls girls girls, as some of the songs of the turn of the century used to put it.

Everybody thinks Paris is one big roaring lark, and it isn't, no city is, that's all part of the tourist racket.

My job in Paris from the beginning has been to do my work, because when a man reaches fifty he knows he isn't forty, and he certainly isn't thirty, but he is still himself, and he still has his work, so is he going to do his work, or is he going to quit?

Well, I didn't give the matter any thought at all, certainly not of that kind, I simply wanted to work, and there was a good reason why. I needed the money.

I had to have money, and I couldn't get any by any other means. My work was writing, so after the sensible breakfast of tea and bread and cheese every morning I went straight to work, and after I had done what I considered a fair day's work I took to the stairway again and went out to walk in the neighborhood.

This is something all writers will understand.

It is so good to have the day's work done that just to be out in the street, free, and to be walking, is a great joy.

I look into windows, especially into the windows of bookstores, which in Paris also sell maps and gifts and all sorts of other things, and are not strictly speaking bookstores at all. But the secondhand book stores, they *are* really book stores, and so I soon knew where they were and I went to them every day.

One of the best was at the end of Lamartine, just across Poissoniere, where Lamartine becomes Montholon. This store had a good assortment of old books in English, and I enjoyed browsing through them, and choosing two or three at one franc each, or about twenty cents each, although some of the very best books were only fifty centimes each, or a dime.

The owner himself was about seventy-four years of age, and for three years we were courteous friends, although we never exchanged any words excepting routine French ones.

Then, one day he came to me and said in the Armenian language, "I have been told you are Saroyan, is that true?"

We became *new* friends, but by doing so we lost something that I am not sure wasn't better.

34



The way to remember people is systematically by time and place, but that's only done, or attempted, when the one who is remembering is doing it for a purpose, for the record, for the archives even, or for his memoirs, or for his autobiography, or for a history of the world he knew, or a history of the human race he met and experienced, and he wants everything to be in the kind of sensible order that does not exist in nature, is not permitted to exist in nature.

Human memory works its own wheel, and stops where it will, entirely without reference to the last stop, and with no connection with the next.

This morning a man remembers riding a wagon somewhere vague and hearing the man holding the reins make a sound to the horse, and tonight this same man remembers seeing a stranger a week ago in the street, whom he instantly believed he had seen in precisely the same manner, somewhere in a street,

twenty or thirty years ago, and even then, as now, he had thought the words "my father," and hadn't paid much attention to the man the first time or the second time, or to his having thought the same words both times, or without thinking about his father for longer than *that* instant, and going on to other thoughts and memories and dreams of words, meanings, and mysteries.

The world to every new arrival is an instantaneous grab-bag of known and unknown people, ideas, declarations, secrets, purposes, menaces, joys, comedians, sorrows, jokes, songs, sounds, and punctuation marks from such creatures as birds, who come and go freely to trees, fences, and porch railings. Messages from such animals as rabbits, squirrels, gophers, all with fascinating ways of being, and incredible eyes. Free animals, not like cats and dogs captured in the house and family, or like cows and horses, goats and sheep, unknowingly living to serve and feed human beings.

In the midst of all this, there he is suddenly, *himself*, beginning to become acquainted with the truth of that strange reality. Himself. That which he has once seen, he begins to notice that he can see again, for having seen it *at all*, the first time. Seen then, and now, because it is there now, and was there then, in itself, and in him, and he remembers it, sometimes on purpose, sometimes helplessly.

And so, theoretically, any writer who is concerned about a chronicle of people he has met is expected to refer to them chronologically. In the case of certain loud eccentrics in the world of art and expression,

a beginning is made at the very beginning, and a famous painter, for instance, says he remembers suddenly becoming himself when his father's sperm met his mother's ovum, and wham, as he put it, there he was, wild in the eye, and forever after looking. Looking at everybody and everything, and then painting it the way he saw it, which is the truthful way, he said, not the way it *seems* to be at all. All things are distorted, he said, everything is a part of a huge distortion, the whole universe is a distortion, a tearing to pieces of things that were perhaps once whole, and an exploding of these terrible pieces, and a terrible drowning of them in terrible oceans a billion times larger than Lake Wahtoke in 1919, near Fresno.

And then this terrible eccentric—myself of course, just invented—goes on to say that memory follows no rules, and thus, the owner of the bookshop on Montholon, whom I took to be a Frenchman, who turned out to be an Armenian, began to *fade* as the smiling gentleman at his desk accepting small coins for old books, a *real* friend, somebody memory would hang onto for a long time. And soon after the revelation, talking in Armenian each time we met, the quiet man seemed to be forgotten, seemed even never to have existed, and of course it is the quiet man who is memorable, and the other who is only another talking compatriot, proud and respectful.

Thus, Girard became Jirayr, and the real language of human beings, unspoken, became Armenian, spoken.

35



The very first time I reached Paris, in April or May of the year of 1935, I had been met at Gare St.-Lazare by a short excited Frenchman who looked more as if he might be English or German, for he was thick and intensely earnest, as if he were engaged in very important business, possibly spying or secret service, and he wore a black derby.

I used to be able to know from a fair distance if somebody was concerned about meeting *me*, and this happened when I saw this man, who had a piece of paper in his hand. I didn't know that I was to be met at the railway station at all, although at Southampton somebody from a travel agency had rounded up six or seven of us and had put us into one compartment of the train to London, where we were again met by another travel man who put us into a bus which took us to an unnamed small hotel where bed and breakfast cost about the equivalent of a dollar and a half.

Those were the days, one might say. I certainly felt as if I were a rich millionaire, as the joke goes.

Now, at the Paris railway station, here was this man, looking for somebody.

I walked straight up to him, and he said, "Saroyan?"

He pronounced the name in the European manner, which is the proper way to pronounce it.

He then said, "Welcome to Paris. I have an excellent room waiting for you, at the Atlantic Hotel on Rue Londres, shall we walk?"

I had only one suitcase, which he felt obliged to seize, and so we went out and walked to the hotel. It never occurred to me that this walk meant a little profit to him, a profit of perhaps as much as half a dollar, for he had been provided with taxi money.

He got me into the hotel, I liked the room, he told me about my next train connection, the following morning at a convenient hour, to Vienna, where I would be met again and escorted to a hotel.

"I shall come here an hour before train time tomorrow," he said, and bowed, removing his derby as he did so, and I thought, "Boy, it's good to be famous. This is just like in a movie. Here I am a world traveler, honored on all sides by people who smile at me and look at my picture in my passport, and then at me, and write my name very carefully in the register, and they know, they suspect, that this is not just a common name, this name is a famous name, it belongs to a man of the world, a man of art, a writer, an observer, a thinker, one of the immortals. Me."

And only *half*-kidding. I felt simultaneously elated and very nearly exhausted, for I tend to react

intensely to everything and everybody I reach. The result is that days of ocean travel, hours of walks in London, hundreds of people on the Channel boat, on the train, in the station, in the Paris streets, all of these people, all of these scenes come to me with great force and make a powerful impact—something I had never before noticed, although in a lesser degree it had always been going on.

I have many times seen men not unlike the man in the black derby who met me at Gare St.-Lazare, and I have invariably considered each of them a friend, with a little larceny in his nature. Nothing spectacular, just a slightly cut corner, a walk of two blocks with a suitcase, carried by the man himself, in order to save, and thus to have, about half a dollar.

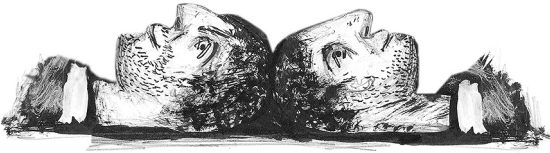
The innocence of these people has always impressed me as being even better if not quite as pure as the innocence of people who have not been tempted.

There was a floating crap game in the summer of 1922 in Fresno, in which the take of the house was dropped into a cigar box by an Armenian boy whose nickname was Turk. During a big game in a big room at the Sequoia Hotel, Turk would remove the take from the various pots, so that soon the cigar box would have a total of at least two hundred dollars in it.

Well, when the game was robbed by four masked bandits, Turk refused to give up the cigar box saying, "You can't take this, this is the take."

That's innocence. But of course the box was taken. And Turk felt that he had let himself down by not losing his life in refusing to give up the box.

36



I worked on a vineyard with a retired Armenian wrestler named Nazaret Torosian one year, and he is one of the few people I believe I have ever learned a little something or other from, for he frequently stopped in his work to say, “If your opponent gets a headlock on you, feel out the action of his muscles, and when the pattern of tension and relaxation is known, wait for the next instant of relaxation, and then leap upward with all the force you can manage, and I think you will find that you can break free from his hold upon your head.”

“Yes, sir,” I used to say, “but in leaping up is it not possible that the top of my head will strike the bottom of his head, his *chin*, and be considered a foul?”

“No, sir,” the retired wrestler would reply. “In making your break for freedom, the force of your movement automatically drives him out of the line of your released head, but let us say that somehow or other his chin *is* in fact directly in line with your head, and that the top of your head *does* strike him on the bottom of his chin—all the better, my boy. Don’t worry

about it, *you* will scarcely feel the impact, whereas he may be pushed close to unconsciousness by the force under his chin.”

“Yes, sir,” I used to say, “I’ll remember that.”

And so we might not speak again for ten minutes, or even twenty, and now and then not even for an hour, because pruning muscat vines calls for a certain amount of concentration, and at the same time in noticing the beauty of the structure of the vine one tends to fall silent.

But sooner or later the Armenian wrestler would stand up straight and say, “If you are on the mat, and he’s sprawling all over you to keep your back flat on the mat so that he may win the round, God help you, that’s all I can say.”

“Yes, of course,” I used to say, “but is there nothing I can do to stop him from keeping my back flat on the mat?”

“Yes, there is,” the old wrestler would say, “but it isn’t easy, it is almost impossible, everything happens very swiftly in wrestling, and when you are off balance in that manner, where is your strength to come from? You are flat, and you have nothing to hold your strength together *upon*, for a counterattack. But there *is* one thing you can do, and again it is something more in the realm of art than athletics, and I myself in a long career of professional wrestling was able to do it only perhaps half a dozen times out of at least a hundred opportunities.”

“And what is that?” I would ask.

“Disappear,” Nazaret Torosian would say. “And I *mean* just that. Disappear, out from under. How it happens I have never been able to understand, and I have studied the matter from every possible angle. My wrestling weight was 240 pounds, all muscle, bone, and cartilage, and so we know that this is a great deal of body to cause to disappear, and yet, that is precisely what happened at least half a dozen times. I was flat on my back and my opponent—once he was Strangler Lewis himself, another time he was Jimmy Londos, and another time he was Stanislaus Szabisco—and then suddenly I was *not* flat on my back, I was *up*, on my feet, and he was just turning to see where I had gone. So I invariably thought to myself, Now, how did that happen? And of course I went on and won the round. The matches in those days were the best two out of three, as I think you may remember.”

“Yes,” I would reply. “Yes, sir, I *do* remember, but after you had given the matter a great deal of thought, what did you conclude? How did it happen that you were able to disappear in that manner? What was it that permitted that impossible disappearance?”

“Well,” Nazaret said, “I finally decided that it was Christianity. Jesus did it. Our blessed babe worked another miracle. It is not for nothing that we are the first nation in the world to accept Jesus. It was Christianity that did it.”

“Yes, sir,” I used to say, “but your opponents, they also were Christians, every one of them.”

The wrestler would look up and consider what I had said, and then he would say, “What you say is

true, but we are Armenian Christians, and that gives us just the edge we need. An Irish Christian, a Greek Christian, a Polish Christian—Jesus *will* help them, but only *after* he has helped an Armenian Christian.”

I have never had occasion to use any of the wrestler’s advice, however.

Or so I seem to believe, at any rate.

But who says I am a Christian? With me, in religion, it has got to be all or none, and none is just an edge too little and belittling. Chance meetings with living saints and sons of bitches go on and on.

SUMMERTIME¹



I forget everything until I hear again the melancholy and heart-sickening steam-whistle of the pop-corn man's wagon passing in the street, and then I see the wagon again, and the street, and remember again, as if I were still a small boy of eight sitting on the steps of the house on Santa Clara Avenue, days I remembered then and still remember, but days nevertheless that were never in my life, that were days of the world of people in cities far away, a long time ago. Sitting on the steps of the porch, I would feel again the bitter ache of those ended moments returning to me, knowing they were mine, though I had never lived them.

The sky would be very high, yet very near, and clear, and bright with the tragic presence of many stars, the air would be warm and full of substances almost tangible, and it would be impossible, breathing, not to go back, turning in the warm moment, to the long years of sleeping, after birth, in the warm days of the warm months, August and September and October, a small body alive in a house, dreaming

¹ William Saroyn. *Three Times Three*. N.Y. 1936.

world, and it would be impossible not to live again all the dark warm hours of breathing this world, in sleep.

The horse and the pop-corn wagon would go by in the street, moving, and I wouldn't be able to know the substance of the days returning to me, and I would ask the question, Where? Who? When? There was a city surely, and places, and men came to the city in carts drawn by ox, or seated on camels, and they would enter the places of the city, places with tables and chairs, food and drink, and the men would sit at the tables and eat, and drink, and talk, and I would be there.

I would follow the pop-corn wagon to the corner, asking, Who laughed? And I would follow the wagon another block, asking, Who roared with laughter?

And then I would remember danger, and be frightened by the world, and the inhabitants of the world, the multitudes of them. Then I would laugh at the fear, remembering the laughter of the one who laughed, and I would laugh. I would challenge it. It is so, I would laugh. There is danger in things seen, and the things unseen. Well, here I am. I'm not afraid.

I would go back to the house and sit on the steps and begin to wait again. Let it come. There would be a sea somewhere, and it would be desolate and full of danger, and then the wind would come up and rain would fall and there would be thunder in the darkness. The cold would be full of danger and there would be no bottom to the sea. But at the edge of the sea there would be land. There would be warm earth and clean fields of growing grass: trees, rocks, and all the living things of earth; animals with fur; eyes,

feet. And birds with colored feathers; and eyes. On the earth. And there would be cities and streets and houses and people.

One night my father's younger brother Setrak came down the street on his bicycle. He put the pedal of his bicycle against the wooden curb and came up the walk.

Why are you so eager? he said.

Where did we live first? I said.

You were born here, he said. You've lived in this valley all your life.

Where did my father live? I said.

In the old country, he said.

What was the name of the city?

Bitlis.

Where was this city?

In the mountains. It was built in the mountains.

And the streets?

They were made of rock, and they were crooked and narrow.

Do you remember my father in the streets of Bitlis?

Of course. He was my brother.

You saw him? I said. You saw my father walking in the streets of the city in the mountains?

I got up and jumped down from the steps and walked in front of the house. I walked away from the house I walked away from the house and turned around and walked back.

Like this? I said. You saw him walking in the old country? My father?

Of course, of course. He was my elder brother. Many times I walked with him.

You walked with my father? I said. What would he say?

Well, my father's younger brother said, he wouldn't talk much.

Sometimes, he would, though, I said. When he'd say something, what would he say?

I remember one day, my father's younger brother said.

We were walking together to church. Your father said, Ahkh, ahkh, look at it, Setrak. Look, look.

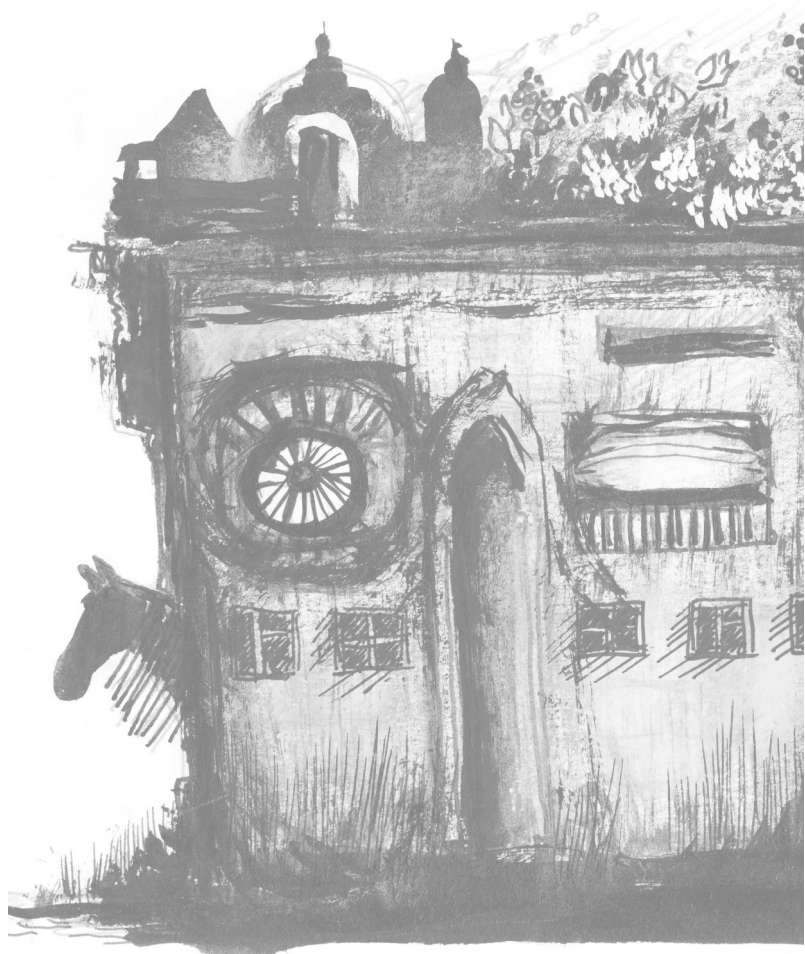
You heard him say that? I said *Abkh, abkh*? What was it?

Nothing, my father's brother said. It was nothing. It was everything.

Abkh, abkh, I said like my father. Look, look.

My father's younger brother went away on his bicycle, and I sat on the steps of the porch and, breathing, the days of my father alive in the city in the mountains returned to me, and I knew he was not dead because, breathing, the sky very high, yet near, and clear, and the moment was the timeless moment of all days and all men, and the world was the world of all who were ever born, the world of all who once dreamed through the long warm days of August and September and October.

СКАЗОЧНИК
САРОЯН





Сказочник Сароян

Уильям Стоунхилл Сароян, четвертый ребенок Арменака и Такуи Сароянов из Битлиса, появился на свет 31 августа 1908 года во Фресно, штат Калифорния. Здесь после долгих странствий нашли пристанище тысячи армян, переселившихся из Западной Армении, спасаясь от геноцида в Османской империи.

Новую поросль детей, родившихся в Америке, дома воспитывали на национальном фольклоре. И хотя новая культура и школа формировали у этих детей иной менталитет, родной язык, Армянская церковь и семья не могли не повлиять на молодых американцев армянского происхождения.

Сароян не стал исключением. Он вырос на сказках и притчах, рассказанных бабушкой Люси и дядей Арамом. Он перерабатывает эти сюжеты и посвящает книгу «Сарояновы притчи» дяде — Араму Сарояну. Некоторые притчи начинаются со слов: «Мой дядя Арам, чтобы привести наглядный пример чего-либо...» Отношения между дядей и племянником были натянутыми. Дядя считал его никчемным лодырем и бездельником. Не случайно нрав Медведя в Притче IV сравнивается «с буйным темпераментом моего дяди».

Другие притчи начинаются так: «Когда бабушка Люси хочет наглядно показать, что...» Сароян посвятил ей множество своих произведений и в одном из них («Ноне», 1933) подробно описано, как бабушка рассказывала сказки собственного сочинения:

«Она никогда не ходила в школу и не умела читать на родном языке, но знала бесчисленное множество народных сказок, которые исполняла с поэтической безупречностью, не искажая ни единого слова, сколько раз бы ее не просили повторить... Она слышала эти

сказки от своих бабушек и тетушек, но не те, что она рассказывала нам, ибо в последние она вкладывала свой характер, свою философию и фразы, которые могла придумать она одна. Она была в своем роде артисткой. Истории были с моралью. Они учили молодежь смелости, благородству, честности и трудолюбию, бережливости, бодрости ума, но самое главное — скепсису. Ведь мир кишмя кишит забываниями, которые спят и видят, как бы отобрать у невинных людей честь, душевное спокойствие и деньги. Не годится слишком верить в человека; гораздо предпочтительнее верить в Бога».

Спустя много лет, в 1975 году, в своем интервью с Сарояном тему устного народного творчества затрагивал Гарик Басмаджян:

Г.Б.: «...Когда вы говорите об аллегориях, сразу уносишься в далекое прошлое, в Малую Азию, в изустные традиции Армении и армянский фольклор. Такое впечатление, будто вы не пишете, а рассказываете свои истории, подобно известным армянским сказителям».

У.С.: «Да, но сначала эти мои истории кто-то рассказал мне. Как только я (в восьмилетнем возрасте) вернулся из детского дома, то услышал их от бабушек по отцовской и материнской линии, от дяди моей матери, Карапета Сарояна, и прочей родни преклонного возраста».

Фольклор крепил узы родства армян Диаспоры со «старой родиной», хотя многие из них, как Сароян, родились в Новом Свете. Истоки Сарояна находились в Битлисе (Западная Армения). И туда он стремился попасть многие годы. Он посвящал стихи озеру Ван («озеро и символ нашего горя») и реке Евфрат. Там находилась древняя колыбель армянского народа — Ванское царство, возвышались Сасунские горы, а там

обитали эксцентричные, чудаковатые, непредсказуемые персонажи героического эпоса армянского народа «Давид Сасунский», которые были сродни представителям рода Сароянов и самому Сарояну, которого в семье в глаза называли «чокнутым Вилли» (“*Tsoor Willie*”).

Характерно, что Сароян рассуждает о Давиде Сасунском и о безумии в «Случайных встречах»:

«В моей ветви Сароянов встречаются разные люди, и я, кажется, сочетаю в себе две крайности — я и умный и дурак, во всяком случае, точно — безумец.

Чтобы меня верно поняли, скажу, что слово “безумец” — по-армянски — “хент” употребляется без тени презрения, а порой даже с восхищением, если не с почтением.

Вот Давид Сасунский был хент, и если вы не знаете, чем он прославился, то позвольте сказать одним словом, что он прославился, чем только возможно» (глава 13).

Здесь героический эпос X века «Давид Сасунский» — отголосок освободительной борьбы с арабскими завоевателями — переплетался с трагической реальностью конца XIX — начала XX веков — гибелью сасунских смельчаков и всего Сасунского мира. Здесь предки Сарояна жили, впитывая сказки, фольклор и житейскую мудрость, которые они передавали из поколения в поколение, а потом с одного континента на другой — для молодой поросли американцев армянского происхождения, оторванных от своего языка и культуры.

Став писателем, Сароян проявил профессиональный интерес к фольклору и просил друзей присылать ему армянские сказки и басни. В его произведениях присутствуют и библейские мотивы. Например, повествование о Давиде и Голиафе преобразовалось в рассказ «Кулачный бой за честь Армении». Евангельский сюжет перепелся с реальностью

в рассказе «Тайная вечеря». В рассказе «Шестьсот шестьдесят шесть» цитируется «Апокалипсис». В «Заговоре» в шуточной форме показано, что бывает, когда роешь другому яму. В «Бане» кот заговорил словами Экклезиаста; а в «Скитальце» автор вступает с Экклезиастом в ироническую полемику. И наконец, заголовок — «Сарояновы притчи» переключается с другими притчами — Соломоновыми.

У Сарояна нередко встречаются произведения в форме молитвы. В перечне ненапечатанных произведений Сарояна, хранящихся в Стэнфордском университете, есть четыре молитвы в стихах, в том числе, одна ко Дню Благодарения, а другая — зубному врачу. Молитвы слышны в рассказе «Кулачный бой за честь Армении», а один рассказ так и называется «Молитва». О значении молитвы Сароян говорит в рассказе «Да и Аминь». В рассказе «Мои ботинки» звучит молитва сильного, жизнерадостного человека.

Сказки и мифы присутствуют в рассказах «Ученик брадобрея», «Да и Аминь». В рассказе «Наджари Левон» Сароян прибегает к гиперболизации, свойственной легендам, описывая фантастических размеров змею, обитавшую в человеческом жилище. Однако змеи действительно обитали во многих семьях и считались стражами очагов; предания о них сохранились в домашних хрониках. В этом рассказе Сароян впервые целиком строит сюжет на легенде, а не на отдельных мотивах. Вот, наверное, почему в 1966 году именно Сарояну поручили написать предисловие к одному из изданий «Сказок тысячи и одной ночи».

Как видно, «Сарояновы притчи» не единственное произведение, основанное на фольклоре. Более того, многое из перечисленного выше появилось раньше «Притч». Не иссяк интерес к фольклору и в более поздних произведениях. Несколько рассказов, не относящихся к «Притчам», названы «притчами»:

«Притча о войне старого комплекса с новой культурой»,
«Притча из Фресно».

«Сарояновы притчи» (*Saroyan's Fables*) изданы в 1941 году отдельной книгой тиражом 1000 экземпляров, каждый из которых был пронумерован и подписан автором. Книга состоит из 27 притч, 7 из которых были напечатаны в 1939 году в сборнике «Мир – это прекрасно» (*Peace, It's Wonderful*) под заголовком «Назидательные истории старой родины» (“Little Moral Tales from the Old Country”).

Некоторые из притч универсальны – мы сразу узнаем вершки и корешки (Притча XII), известные по русским сказкам, или шкуру неубитого медведя из пословицы (Притча III). Некоторые притчи короткие, как и полагается сжатою повествованию с моралью в несколько строк. А Притча IX пространно иллюстрирует поговорку «истина в вине» (“in vino veritas”), как и другие притчи, принадлежащие скорее жанру назидательной новеллы или короткого рассказа, например, Притча XIX. Последняя выделяется на общем фоне тем, что является по сути молитвой, а как уже говорилось, это один из любимых жанров Сарояна, и, во-вторых, монологом, почти потоком сознания, что имеет мало общего с притчей.

Мораль Притчи VI подозрительно напоминает сентенцию Старухи Шапокляк о тщетности добрых деяний, и на ту же мысль наводит Притча VII. А Притча XXIII приходит к доказательству того же от обратного:

«Священник обернулся к человеку, который вонзил ему в спину нож, внимательно всмотрелся в его лицо и, умирая, сказал:

– За что ты убиваешь меня? Ведь я не сделал тебе ничего хорошего».

Сароян вносит в повествование отсебятину вроде «одинадцати тысяч, одинадцати сотен и одинадцати

фунтов мелких опилок» в Притче I. В Притче XXI о «человеке, который временами терял рассудок, зато неизменно оставался *демократом*» (курсив мой — А.О.) Сароян создает комический эффект, используя не совместимое с сюжетом повествования современное понятие.

В Притче XXVI Сароян не ограничивается изложением сюжета, а открыто выражает особое мнение и несогласие с бабушкой, которая симпатизировала персонажам притчи. Хотя, в основном, он почтительно излагает точку зрения бабушки, особенно, когда персонаж вверяет свою судьбу Богу (Притчи I, XVIII).

Сароян ценил авторов, работавших с фольклорным материалом. В 1939 году в Ирландии он познакомился с писателем Флэнном О'Брайеном (1911–1966), который написал роман «At Swim-Two-Birds» (1939), круто замешанный на ирландской мифологии и чертовщине. По собственному признанию, Сароян и сам был бы не прочь написать нечто подобное.

* * *

Успеху книг Сарояна в известной степени способствовали и первоклассные художники Рокуэлл Кент и Дон Фриман. Р. Кент — автор гравюры, специально приуроченной к публикации рассказа «Влюбленные» (1936). Это единственный известный случай сотрудничества Сарояна и Кента. Дон Фриман иллюстрировал «Человеческую комедию» и «Меня зовут Арам». Он же нарисовал портрет молодого Сарояна. Книга «Сарояновы притчи» также оформлена одним из ведущих иллюстраторов Уорреном Чапеллом (1904–1991), дизайнером шрифтов и автором нескольких книг по книгоиздательскому делу. Чапелл снабдил заглавные буквы каждой притчи оригинальным рисунком,

а пять притч — IX, XII, XVI, XXII и XXVI — отдельными гравюрами на дереве.

* * *

Своими «Притчами» и десятками других книг он доказал свою правоту всем и, в том числе, практичному дяде Араму. Сын поэта-проповедника Арменака Сарояна, умершего в 36 лет от перитонита, Уильям Сароян поднял оброненное отцом перо. Вопреки поучениям благоразумной родни, тяготам и лишениям безвестности и безденежья он выбрал трудное литературное поприще и блестяще проявил на нем свой талант. Однажды он заявил: «Я поступаю, как мне заблагорассудится, и хочу, чтобы меня не поняли правильно».

Откуда в нем эта внутренняя свобода, неприятие условностей и навязываемых установлений, нежелание вписываться в привычные рамки, что постоянно приводило к столкновениям в семье, в армии, в театре, в кино и, бог весть, где еще? Неужели этому способствовали пять лет, проведенных в детском доме? Или школа, из которой его выгнали? А может, на него подействовал вольный воздух страны, куда бежала его семья со «старой родины», спасаясь от турецкого ятагана, и где родился он, не испытавший османского ига и клейма «гяура»? Скорее всего, сильный природный талант пробился сам собой, как травинка сквозь асфальт.

Именно этот талант, требовавший от него большего, чем работа на подрезке виноградной лозы или прозябание в конторе, заставил девятнадцатилетнего Сарояна оставить родной Фресно и переехать в Сан-Франциско, а потом в Нью-Йорк. Первый опыт самостоятельной жизни не увенчался успехом, так как найти достойное занятие ему не удалось. Зато на этот период (1928) уже приходится его первые журнальные публикации.

В декабре 1933 года Уильям Сароян получил письмо от редакторов журнала «Стори» Вита Барнета и его супруги Марты Фоли, в котором сообщалось, что его рассказ «Отважный юноша на летающей трапеции» будет напечатан в февральском номере журнала. Здесь печатались такие выдающиеся авторы, как Шервуд Андерсон, Эрскин Колдуэлл, Уильям Фолкнер, Гертруда Стайн и другие; а теперь и ему, Сарояну, предоставлялась возможность стать членом этого эксклюзивного клуба. Благодаря этой публикации Сароян впервые получил доступ к общенациональной аудитории.

Сароян решает не останавливаться на достигнутом и начинает писать по одному рассказу в день. Написанное, по два-три рассказа, он посылает своим новым знакомым. В. Барнет и М. Фоли приветствуют инициативу Сарояна и требуют новых рассказов. За один месяц Сароян написал 35–36 рассказов, из которых редакторы отобрали 26. Эти рассказы и вошли в первый сборник Сарояна «Отважный юноша на летающей трапеции», напечатанный в октябре 1934 года издательством «Рэндом хаус». По вполне понятным причинам книга была напечатана с посвящением Виту Барнету и Марте Фоли.

Среди множества книг, напечатанных в том году на бескрайних просторах Америки, журнал «Тайм» безошибочно разглядел своеобразный стиль Сарояна и откликнулся статьей «Надвигается циклон?»¹, которая начиналась так: «На прошлой неделе на американском горизонте появился новый писатель. На первый взгляд, размером не больше ладони, это любопытное явление обещает перемену погоды, а может, и циклон». Отмечалось, что в произведениях

¹ “Cyclone Coming?” TIME, Monday, Oct. 22, 1934.

Сарояна отсутствует сюжет и это, возможно, озадачит читателей, воспитанных на старых традициях короткого рассказа. «Отважный юноша на летающей трапеции» многим пришелся по сердцу благодаря свежести взгляда, теплоте, человечности и способности Сарояна сопереживать. Критика называла Сарояна выразителем чаяний и тревог «второго потерянного поколения» эпохи Великой депрессии.

Прогноз рецензента сбылся быстрее, чем ожидалось. Выход первой книги Сарояна действительно вызвал *бурю* негодования у Э. Хемингуэя, которого оскорбили высказывания Сарояна о нем в рассказе «Семьдесят тысяч ассирийцев». В журнале «Эсквайр» (январь 1935) Хемингуэй разразился грубой статьёй в адрес Сарояна, а заодно и другого армянина — Майкла Арлена (Тиграна Куюмджяна). Отношения Сарояна и Хемингуэя не улучшились ни десять, ни двадцать лет спустя. В своей книге «Прогулка в роскошной колеснице» (1966) Сароян посвящает Хемингуэю одну главу, в которой ощущается неприятный осадок, оставшийся от общения с ним в разные годы.

Однако этот окрик и несколько нелицеприятных отзывов в прессе потонули в хоре восторженных голосов критики. Издательство анонсировало выход книги как: «Новое громкое имя в жанре короткого рассказа — САРОЯН! Вот уже много лет ни один автор коротких рассказов не вызывал такого всеобщего интереса и оживления. Он самый обсуждаемый и востребованный молодой писатель в Америке. Его талант так же ярок, как талант Фолкнера, Драйзера и Ларднера». Критик Луис Кроненбергер тоже не скупился на похвалы: «Его талант не вызывает никаких сомнений. Он пишет с легкостью, непринужденностью и временами свежестью, какие редко встречаются в первой книге двадцатипятилетнего автора... Но, к сожалению, ему

не хватает скромности или, что еще важнее в литературе, сдержанности».

Но «несносного ребенка» и «трудного подростка» американской литературы, «неистового Уильяма Сарояна», как окрестил его «Тайм», напрасно было призывать к сдержанности. Воодушевленный успехом, он берется за составление второго сборника «Вдох, выдох» (1936). Эта книга отличалась небывалым объемом (438 страниц) и количеством рассказов (71), которых вполне хватило бы на два полноценных сборника.

14 сентября 1935 года Сароян написал рассказ «Тот, чье сердце в горах», который вошел в сборник «Трижды три» (1936). В 1938 году он переложил этот рассказ для сцены и отослал в журнал, печатавший одноактные пьесы; его редактор Уильям Козленко предложил доработать адаптацию для полноценной постановки. Театральный дебют Сарояна и премьеры пьесы «В горах мое сердце»¹ состоялись в апреле 1939 года и принесли ему премию театральных критиков. Тогда Сароян заметил без ложной скромности, что у него с Шекспиром одинаковые инициалы W.S.

После успешного старта от Сарояна требовали новую пьесу, и она не заставила себя ждать. Пятиактная драма «Годы вашей жизни», которую Сароян написал за неделю в мае 1939 года, была поставлена уже в октябре. Пьеса вызвала противоречивые отклики: сторонники традиционной добротной пьесы с продуманной сюжетной линией не воспринимали сарояновскую пьесу. В ней сравнительно мало событий и много диалогов. В этом смысле она

¹ Это, однако, не первая его пьеса. Однажды Сароян прочитал в «Нью-Йорк таймс» о том, что он, оказывается, работает над пьесой, и чтобы не ставить газету в неловкое положение, взял и сочинил свою первую пьесу «Цирк в метро» (1935).

напоминает чеховские пьесы, а по социальному составу персонажей — «На дне» М. Горького. Место действия тоже сравнимо с горьковской ночлежкой — портовый салун. Пьеса «Годы вашей жизни» в 1940 году впервые в истории американского театра получила сразу и Пулицеровскую премию, и Премию нью-йоркских критиков.

Примечательно, что еще в 1934 году в рассказе «Семьдесят тысяч ассирийцев» Сароян заметил: «Я не жажду славы. Я здесь не для того, чтобы добиваться Пулитцеровской премии, или Нобелевской, или какой-либо награды вообще». После присуждения Пулитцеровской премии ему представилась возможность доказать твердость своих убеждений. И он официально возвратил чек на 1000 долларов Пулитцеровскому комитету. Свое решение Сароян объяснял тем, что «коммерция не должна покровительствовать искусству». Были и другие мотивы. Узнав о присуждении ему Пулитцеровской премии, Сароян сказал: «Я откажусь от нее. Они должны были дать мне ее за пьесу “В горах мое сердце”».

* * *

В декабре 1941 года, после нападения японцев на Пирл-Харбор и вступления США в войну, Сарояна пригласили в Голливуд написать сценарий к фильму о войне. Так появился фильм «Человеческая комедия». А уже на основе сценария он написал свой первый роман. Получилось нечто совершенно не похожее на пропаганду военного времени — не слышно взрывов, выстрелов и нет батальных сцен, а действие происходит в вымышленном калифорнийском городке Итака за тысячи миль от фронтов Второй мировой. Нет никакой героики или романтизации войны, обещаний скорой победы или перемен к лучшему после нее. Напротив, Сароян утверждает, что человечество никогда

не избавится от войн, что причины войны лежат глубже — в человеческой природе.

Сароян настаивал, чтобы режиссером фильма по его произведению был он сам, как и в случае постановок своих пьес. Руководство киностудии Метро-Голдвин-Мейер действительно предоставило Сарояну возможность снять короткометражный фильм «Хорошая работа» (“The Good Job”) по его рассказу «Бедные» (“A Number of the Poor”). Эта единственная режиссерская работа Сарояна в кино примечательна еще и тем, что в ней впервые в американском кинематографе прозвучала армянская речь.

Однако студия не могла доверить съемки полнометражного фильма человеку без опыта работы в киноиндустрии. Тогда Сароян разорвал отношения с киностудией и потребовал обратно свой сценарий в обмен на полученный гонорар. Но получил отказ. Увидев фильм на экране, Сароян счел, что киностудия безнадежно испортила его фильм, и не хотел иметь с ним ничего общего. То обстоятельство, что фильм всем очень нравился, его только ужасало. Между тем в 1943 году фильм был выдвинут на премию Американской киноакадемии «Оскар» по четырем номинациям, но получил только одну золотую статуэтку за лучший сюжет и досталась она Сарояну, хотя он всячески открещивался от этого фильма. «Оскар» Сарояна хранится в краеведческом музее города Фресно.

* * *

В американской литературе имя Сарояна стало нарицательным. Критики и собратья по перу дружно заметили вошедшее в поговорку жизнелюбие Сарояна. Не оставили его без внимания и американские юмористы. Так, известный комик Гручо Маркс обыгрывает узнаваемый стереотип Сарояна-

человеколюба: «...они прекрасные ребята с черными кудрями, двубортными пиджаками и с такой любовью к ближнему, что самого Сарояна пересароят». На Сарояна рисовали карикатуры и шаржи, писали пародии.

Появление Сарояна на литературной арене Америки вызвало восторги, недоумение, негодование, но никого не оставило равнодушным. Откуда возник феномен Сарояна? Где истоки его вдохновения? Кто были его учителя? В читальнях родного Фресно он познакомился с классической русской литературой, о чем обстоятельно повествует в рассказе «Студент-богослов». Сароян всегда говорил, что для него важны Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов, Тургенев, Горький.

Весьма широк и круг любимых Сарояном англоязычных авторов, чье значение для своего творчества признавал сам писатель. До сих пор в литературоведении не утихли споры о том, на кого «похож» Сароян. Одни критики, не без причины, ищут в его рассказах и романах влияние Шервуда Андерсона, из произведений которого выросла вся американская литература начала XX века. Другие — проводят параллели с Хемингуэем, хотя это сравнение вызывало у Сарояна протест. Об этом он пишет в книге «Прогулка в роскошной колеснице». Впрочем, это не мешало Сарояну советовать начинающему писателю Тошио Мори читать Хемингуэя. Сам же Сароян заявляет, что испытал на себе влияние Бернарда Шоу. Все эти утверждения, как и то, что Сароян многим в своем творчестве обязан Шекспиру, Роберту Бернсу, Уолту Уитмену и Томасу Вулфу, справедливы...

А как старшие коллеги по цеху относились к нему? Теннесси Уильямс относился к Сарояну как к автору, с которым его [Уильямса] будут сравнивать. Это, впрочем, не мешало ему по достоинству оценивать конкурента — он мечтал сочинить что-нибудь похожее

на пьесу Сарояна «Джим Дэнди». Томас Вулф ценил «энергию и свободу» его произведений. Генри Миллер после постановки сарояновской пьесы «Годы вашей жизни» тоже решил попробовать свои силы в этом жанре. Драматург Клиффорд Одетс однажды, говоря о книге «Меня зовут Арам», воскликнул: «Ах, как бы мне хотелось писать такие рассказы!» Дух здоровой состязательности не был чужд и Сарояну. Так, посмотрев одну из пьес Лилиан Хелман, он признался, что и ему хотелось бы создать нечто в этом роде.

«Старая родина», «память родителей» и «личный опыт» человека, родившегося в Америке в иммигрантской семье, являются важными составляющими творчества Сарояна. Они актуальны для всякого, кто нашел убежище в Америке. Сарояна привлекает то «общечеловеческое», что объединяет судьбы этих скитальцев. Так, он поддерживал американца японского происхождения Тошио Мори. Его интерес к американским японцам, возможно, вызван тем, что он обнаружил собратьев по перу, черпавших, как и он, вдохновение в своих этнических корнях. Сароян является одним из основателей нового «этнического» направления в американской литературе, и многие писатели-эмигранты ассоциируются с ним. Например, писателя Чин Янг Ли называют «китайским Сарояном», а Джона Фанте — «итало-американским Сарояном».

Сароян утверждал, что каждое поколение будет открывать для себя его произведения заново. Действительно, когда в 1950–60-х годах в литературу пришли битники (Джек Керуак, Чарльз Буковски), их вдохновила внутренняя свобода и раскованность Сарояна, которые не всегда одобряли его старшие современники, призывавшие его к сдержанности.

Сароян был одним из любимых писателей молодого военного летчика Джозефа Хеллера. Хеллер знал программные рассказы Сарояна, в том числе,

«Семьдесят тысяч ассирийцев», а также пьесы. И вот в романе «Уловка—22» (1961) главный герой, носящий явно армянскую фамилию Йоссарян, выдает себя за «ассирийца». У многих это вызывало недоумение и лишь самые проницательные догадывались, что тем самым Дж. Хеллер отдавал дань уважения Сарояну, которого считал одним из своих учителей. Он понимал символику «ассирийцев» у Сарояна. Это — аллюзия на созданный Сарояном образ «ассирийца», помогающий армянам взглянуть на свою судьбу со стороны, на примере истории ассирийцев, еще больше пострадавших от геноцида. В этом рассказе Сароян без устали повторяет: «Я — армянин». Впрочем, и у других авторов можно встретить такую фразу: «знаменитый ассириец Уильям Сароян» («famous Assyrian William Saroyan»).

Любопытно, что неармянское происхождение Йоссаряна возмутило Сарояна; вот что он пишет в одном эссе: «Хеллер, я даже его имени не помню. “Уловка—22”. Я ее и читать-то не стал, хотя там есть некто по имени Йоссарян, но он и не армянин вовсе, не говоря уж обо мне. Где это видано, чтобы у неармянина была фамилия Йоссарян?»¹. Действительно ли Сароян не раскусил ребус Хеллера или, напротив, решил ему подыграть, неизвестно. Но розыгрыши на этом не закончились. В 1970 году, после гневного эссе Сарояна, начались съемки фильма «Уловка-22». На одном из рекламных плакатов, выпущенных \ к премьере, на фоне волосатой груди, красуются жетоны с личным номером, именем и фамилией военнослужащего армии США: ARAM YOSSARIAN. Но и в романе, и в фильме Йоссаряна зовут Джон (!) Очевидно, кто-то решил прозрачно намекнуть на армянское происхождение Йоссаряна. А имя Арам, к тому же, всем напоминает известный сборник Сарояна «Меня зовут Арам».

¹ William Saroyan, “I Don’t Get It”, Playboy, January 1965.

В романе «Лавочка закрывается» (1994), который является продолжением «Уловки-22», Дж. Хеллер уже окончательно раскрывает «тайну» Йоссаряна для тех, кто все еще не догадался, что кроется под маской «ассирийца». Дж. Хеллер, испытывавший в юности влияние Сарояна, о чем он упоминал в своих мемуарах¹, устраивает воображаемую встречу Сарояна с Йоссаряном:

« — А это Уильям Сароян. Уверен, вы никогда о нем не слышали.

— Еще как слышал, — обиделся Йоссарян. — Я смотрел пьесу “Годы вашей жизни”, читал рассказы “Отважный юноша на летящей трапеции” и “Сорок тысяч ассирийцев”². Ассирийцев-то я хорошо помню», — говорит Йоссарян. «Я когда-то пытался подражать вам, но у меня ничего не получилось», — признается Йоссарян-Хеллер. На что Сароян отвечает: «Это потому, что у вас не было моего воображения»³.

Показательны в этом отношении и произведения Рэя Брэдбери. Работая в архиве, я нашел переписку Сарояна с М. Фоли. И в одном из писем М. Фоли сообщает Сарояну о замечательном двадцатидевятилетнем писателе по имени Рэй Брэдбери, напоминающем ей Сарояна, которого она повстречала приблизительно в том же возрасте. М. Фоли советует Сарояну познакомиться с Брэдбери. Она пишет, что остерегается говорить людям «вы понравитесь друг другу», потому что не любит предвосхищать события. Вместо этого она предлагает: «Будем считать, что вы возненавидите друг друга всеми фибрами своей души».

¹ Joseph Heller, *Now And Then*, 1998, p. 186–188.

² У Хеллера, очевидно, ошибка: ассирийцев, конечно, должно быть семьдесят тысяч.

³ Joseph Heller, *Closing Time*, 1994.

Сароян откликается на предложение М. Фоли и 30 июля 1951 года пишет письмо Р. Брэдбери. Он предлагает Брэдбери позвонить ему в офис, встретиться за обедом и поговорить о коротких рассказах, о Марте Фоли и литературе вообще.

Что ответил Брэдбери Сарояну, позвонил ли он ему, встретились ли они, неизвестно. В архивной папке с письмом Сарояна больше ничего не оказалось. Об этом можно было бы забыть, если бы не одно обстоятельство. Еще до того, как мне попались эти письма, у меня были основания предполагать, что Брэдбери был знаком, если не с Сарояном, то, по крайней мере, с его произведениями. К этой мысли я пришел при сравнении творчества этих авторов, которое позволяет провести ряд параллелей между ними. Наряду с этим есть примеры, свидетельствующие о влиянии Сарояна на Брэдбери. Все это, однако, не мешает Брэдбери иронизировать по поводу жизнелюбия и человеколюбия Сарояна, которые стали хрестоматийными в американской культуре и литературе. В рассказе «Бетономешалка» (1952) Брэдбери вкладывает в уста одного из героев следующие слова:

«Это век заурядного человека, Билл. Мы гордимся тем, что мы маленькие человеки. Билли, перед тобой планета, кишашая сароянами. Да, да. Мы — огромная, необъятная, раздобревшая семейка сароянов — все всех любят».

Так были ли они лично знакомы? Единственный, кто мог бы прояснить эту ситуацию — сам Рэй Брэдбери, проживающий в Лос-Анджелесе. Я написал ему письмо, в котором полностью приводился текст сарояновской записки, и попросил рассказать, что было дальше. Брэдбери ответил на удивление быстро:

«7 июня 2004 года
Уважаемый Арам Оганян!

Благодарю вас за письмо с материалами об Уильяме Сарояне. Сароян написал мне, и я связался с ним; так совпало, что он занимал офис в доме номер 9441 по Уилширскому бульвару, в котором и я впоследствии арендовал рабочий кабинет. Я связался с ним, и мы очень хорошо провели время; я принес с собой все, какие у меня были, книги Сарояна и попросил его подписать их, потому что читал его произведения по меньшей мере лет двадцать. После этого мы обедали вместе еще несколько раз, но крепкой дружбы так и не получилось, а только — взаимное восхищение. Так или иначе, это были очень приятные встречи, о которых я вспоминаю с большим удовольствием. Спасибо, что спросили меня об этом.

С наилучшими пожеланиями.

[подпись] Рэй Брэдбери».

Однако творческое взаимодействие Сарояна и Брэдбери продолжается.¹ В 2009 году Брэдбери издал очередной сборник рассказов «Париж всегда с нами». В одном из рассказов («Литературная встреча») описывается мужчина, попадающий под влияние прочитанных книг, до такой степени, что меняется его поведение, настроение и речь. Его увлечение Сарояном совпало с ухаживанием за будущей женой, и его духовный настрой под воздействием задорно-бесшабашного сарояновского образа так вскружил ей голову, что она влюбилась и вышла за него замуж. Но вот в какой-то кризисный для семейных отношений момент жена предписывает

¹ Статья Арама Оганяна была написана за 3 месяца до кончины Рея Брэдбери (*Прим. ред.*).

мужу снова обратиться к Сарояну и читать его книги ежедневно всю оставшуюся жизнь как залог нерушимости брачных уз.

* * *

Журнал «Тайм», часто писавший саркастические рецензии на произведения Сарояна, вынужден был признать, что и спустя тридцать лет пьеса Сарояна «Годы вашей жизни» обрела новое звучание, так как наступили другие времена.

«Всякий раз, когда пьеса восстанавливается, она в определенной степени переписывается ее новым зрителем. То, что когда-то было ярким, теперь потускнело. То, что однажды воспринималось как искреннее чувство, сейчас пренебрежительно считается слащавой сентиментальностью. Каждая последующая эпоха дает право на существование только ей присущим взгляду и глубине. Все это произошло с пьесой Уильяма Сарояна “Годы вашей жизни”, впервые поставленной 30 лет назад... В условиях 1969 года пьеса во многом удивительно преобразилась...

В ретроспективе “Годы вашей жизни” раскрываются перед нами как некое пророчество, а также как пьеса, предвосхитившая меняющиеся драматические тенденции и скептическое сомнение в американских ценностях.

Сароян является американским родоначальником спонтанной пьесы. “Годы вашей жизни” была не выстроена, а выплеснута на стены питейного заведения в порту Сан-Франциско. Когда Сароян говорит “В годы вашей жизни – живите”, начинаешь осознавать, что тогда, тридцать лет назад, был впервые брошен клич “поступай по-своему”.

Персонажи пьесы в глазах сегодняшнего зрителя представляются коммунаной изгоем, а Сароян предстает в качестве первого ярко выраженного хиппи. Когда

полицейские врываются в бар и в кровь избивают негражданина, эта сцена производит эффект дубинки, которого совершенно не было в 1939 году, когда подобные инциденты казались изолированными от знакомого зрителю социального контекста.¹ В те дни Сароян слыл “безумцем” театра. Сегодня же нам представляется, что он обладал здравой интуицией провидца².

Русскоязычному читателю, знакомому с классикой Сарояна («Меня зовут Арам», «Приключения Весли Джексона», «Человеческая комедия» и несколькими десятками рассказов), еще предстоит открыть для себя множество его произведений, которые не переводились по идеологическим, цензурным и прочим соображениям. Множество рассказов оказались запертыми в уже несуществующих журналах, и никогда не переиздавались, и среди них есть настоящие шедевры. А сколько еще произведений Сарояна не были напечатаны при его жизни и ждут своего часа в архивах! Все же неспроста Сароян говорил, что каждое поколение будет открывать его заново.

*Арам Оганян
2012, Ереван*

¹ В годы движения за гражданские права (1960-ые) актуальность подобных эпизодов резко обострилась по сравнению с 1939 годом.

² “The First Hippie”, Time, Friday, Nov. 14, 1969.

Содержание

Левон Мкртчян
Самый лучший день нашей жизни
5

САРОЯНОВЫ ПРИТЧИ
Перевод Арама Оганяна
11

СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ
Перевод Аллы Николаевской
83

SAROYAN'S FABLES
217

CHANCE MEETINGS
283

Арам Оганян
СКАЗОЧНИК САРОЯН
409

Литературно-художественное издание

Уильям САРОЯН
САРОЯНОВЫ ПРИТЧИ.
СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ

William SAROYAN
SAROYAN'S FABLES.
CHANCE MEETINGS

Ответственный редактор
А.Г. Николаевская
Выпускающий редактор
М.А. Хачатрян
Художественный редактор
Т.Н. Костерина
Оператор компьютерной верстки
переплета и иллюстраций
В.М. Драновский
Оператор компьютерной верстки
М.А. Егоров
Технолог
С.С. Басипова

ООО «Центр книги Рудомино»
109240, Москва, ул. Никольямская, д. 6
Отдел реализации издательства: (495) 915-35-18
e-mail: synkova@libfl.ru

Технологическое сопровождение ООО «Бослен»
<http://www.boslen.ru>; e-mail: info@boslen.ru

Подписано в печать 05.10.2012
Формат 84×108/32. Тираж 2000 экз.
Заказ № .

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620041, ГСП-148 Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
<http://www.uralprint.ru>
e-mail: book@uralprint.ru